

Олег Копытов

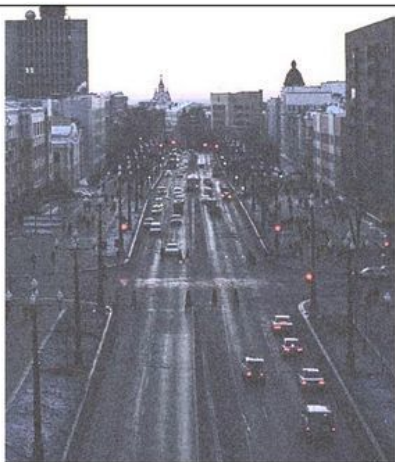
---

# *Защита Ружина*

---

Роман

---



# **Олег Копытов**

## **Защита Ружина. Роман**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22448666](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22448666)*

*ISBN 9785448338052*

### **Аннотация**

Талантливый молодой преподаватель и ученый за 4 месяца написал кандидатскую диссертацию... Но 10 лет не мог ее защитить. В стране – «проклятые девяностые»... За 10 лет и во внутреннем мире героя происходит немало изменений. Останется ли он верен себе? И защита ли это, на самом деле, диссертации? Или чего-то большего?

# Содержание

Глава первая	6
1	6
2	14
3	25
4	32
5	38
6	45
7	49
8	55
9	60
10	62
11	65
12	68
13	69
Глава вторая	72
1	72
2	76
3	82
4	83
5	88
6	89
7	90
8	103

9	105
10	111
11	115
12	116
13	117
Глава третья	119
1	119
2	122
3	127
4	136
5	142
6	145
7	147
Глава четвертая	150
1	150
2	151
3	156
4	158
5	162
6	166
7	168
8	171
9	174
10	176
Конец ознакомительного фрагмента.	179

# **Защита Ружина**

## **Роман**

### **Олег Копытов**

© Олег Копытов, 2016

ISBN 978-5-4483-3805-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Глава первая

## 1

Самолет летит по маршруту Этот город – Красноярск – Санкт-Петербург. Самолет – ИЛ-86. Это хорошо. Это надежный самолет. В последнее время стали часто рассказывать по радио, телевидению и в газетах, как падают самолеты. Я стал бояться летать...

Неделю назад мы шли с женой из театра мимо городских прудов, мы редко гуляем вдвоем, в Этом городе наша семья живет третий год, а в театр мы с женой пошли всего во второй раз, – неделю назад мы шли с женой из театра мимо городских прудов, проснулось что-то позабытое, как я за ней ухаживал, мы долго гуляли по Москве, я был в ударе, плел всякую чушь так вдохновенно, так красиво, так умно, мог полчаса рассуждать на тему, почему именно роза зовется царицей цветов, потом остановиться возле цветочного киоска и сказать, выбирай любую, я плел всякую чушь так вдохновенно, так красиво, так умно, что она непонятно зачем вышла за меня замуж... мы проходили мимо второго пруда, заброшенного, неухоженного, но за ним чернел пригорок и на нем березы, небо было синим, фонари желтыми, я ска-

зал, что очень боюсь летать на самолетах, поэтому лучше бы мне не дали эту командировку, ведь так скользко всё сейчас, так бедно, так нищенски живет всё и вся, нужна ли мне эта командировка, пилоты месяцами зарплату не получают, летать ненавидят, упадем. Она завела куда-то поглубже в себя ту девушку, за которой я когда-то ухаживал, заперла её на ключ, снова стала женщиной, у которой едва выжил после затяжной болезни сын, у которой грошовая нелюбимая работа и странный муж – всё суетится, куда-то мчится или сидит сутками за столом, пишет, стучит на машинке, выходит на работу за пять минут до пары, бежит, как студент, к своим студентам... говорят, они его любят, он мягкий и интересный... часто возвращается со своих пар много позже их окончания и не всегда трезвый... и со своих шабашек возвращается не всегда трезвый... защищаться ему надо, защищаться, вся его суета оттого, что нет у этого кораблика чего-то тяжелого в трюмах, вот и носит кораблик по волнам, кидает влево, вправо, вверх-вниз, защищаться ему надо, защищаться.

- Да, брось ты! Что раньше самолеты не падали? Ты же, сам рассказывал, пол-Союза облетал. Тебе нравилось.
- Достань снотворного. Без снотворного не полечу.
- Брось ерунду говорить! Где я тебе достану?!

Когда сидишь внутри «ИЛа восемьдесят шестого» в полете, ощущения, что ты внутри летающего казенного дома.

Неуютно здесь. Слишком много пустого пространства. Шумно. Потолки высокие. Страшно смотреть на тонкие крылья за иллюминаторами. Как такие тонкие алюминиевые листы держат сию махину? Крылья покачиваются. Вот-вот оторвутся... Четыре часа. Что делать четыре часа, когда всё время думаешь о смерти?

На коленях лежит «Идеографическая грамматика». Народу в самолете мало. Не то сейчас время, чтобы летать. Только что на кафедре отпраздновали окончание очередного учебного года. Вспоминали, как ещё пару лет назад ничего из продуктов нельзя было купить без талонов. Родовались, как дети, что это прошло. Пили «довоеенный» «Рислинг». На кафедре, кроме меня, никто не курит. Я выходил покурить на улицу, смотрел с крыльца в сторону Центральной улицы и думал, у кого одолжить тысяч двадцать. Опять у Степки? Какой папа Карло, каким топором вырубил так грубо его лицо, его фигуру? Он отнюдь не глуп в рамках того скудного общения, что отпустила ему жизнь, но студенты говорят, что он ведет свои пары так же грубо и неотесанно, какое лицо носит. Болотная провинция. Я тоже вышел из неё и в неё вернулся, я не остался в Москве после университета, хотя была куча возможностей, но я прикоснулся... к чему? А черт его знает. На самом деле московские профессора – отнюдь не небожители, отнюдь не титаны, – обычные бабушки и пожилые дядьки: синяя кофта Ёлкиной или скромное пальто В.А., такие носили в конце шестидесятых дирек-



тора школ, пигментные пятна на руках Михаила Викторovichа Панова, отставшая кожица на уголке портфеля Мило-славского... ах, да «Паркер» Рождественского, английский твидовый костюм, походка лорда, который в прошлой жизни был аистом... «Нет, пересдать можно только с разрешения завкафедрой. Вы бегите, бегите быстро, он только что пошел к лифту, улетает в Оксфорд на месяц, не стойте, бегите...» Я бегу, узким клинком врезаюсь в закрывающуюся дверь, ору так, что сублильные мальчик и девочка, наметанным глазом – истфак, второй курс, – попутчики по спуску с восьмого этажа на первый, прижимаются к пластиковой стенке лифта худыми спинами, ору, глядя прямо в глаза, стою, как сочный лист перед высокой травой: «Юрий Владимирович, разрешите обратиться! – Хм, обращайтесь... – Юрий Владимирович, я слушал ваши лекции два года назад, а потом после третьего курса пришлось сходить в армию. Но я готов. Я помню всё. Там Чертанский принимает. Без вашего письменного разрешения, говорит, нельзя». Двери лифта открываются. Мальчик и девочка убегают поспешно, словно стали свидетелями чего-то взрослого, какого-то взрослого интимного процесса. Рождественский идет по вестибюлю, по «Большому сачку» как английский лорд, в прошлой жизни бывший аистом, в левой руке шикарная папка натуральной кожи, импортная, на ней белый вощенный лист, в правой руке – перо «Паркер», для начала восьмидесятых годов – это знак, отличающий олимпийского бога от черно-

мазных илотов, Рождественский пишет: «Александр Иванович, прошу принять и по возможности зачесть». Размашисто подписывается. Сачки с «Большого сачка» провожают нас, как зрители первого ряда актеров в длинной, через всю сцену мизансцене. За два дня я прочитал конспекты лекций Рождественского и пару учебников. Но мог бы этого не делать. Когда Чертанский увидел мою ксиву, он непроизвольно утвердительно замотал головой, очень легко, незаметно почти, но я видел... Получить «отлично» у Чертанского было невозможно. Я получил...

К чему я прикоснулся там, в Москве? Не знаю. И коллеги по кафедре в Этом городе тоже не знают, к чему именно когда-то прикоснулся Ружин, но они знают, точно, твердо знают, что прикоснулся. А им, при всем том, что они носят такие же кофты, как у Ёлкиной, у самых старых из здешних факультетских преподавателей, как у Панова, на руках точно так же расползаются пигментные пятна, но в отличие от Панова, молодыми эти руки никогда не жали руки Маяковского; у проректора по науке пединститута Этого города – жуткая противоположность замшелому коммуняке ректору, – у его импозантного зама, у проректора по науке, он спит и видит себя в американской высшей школе менеджмента, говорят, тоже есть «Паркер», – но никто из них не прикоснулся и никогда не прикоснется к тому, к чему повезло прикоснуться мне. К чему именно?..

Как-то золотой московской осенью мне смертельно захо-

телось выпить. Я обнаружил у себя какие-то истершиеся червонцы, но не нашел никого из испытанных бойцов. Отряд разбрелся кто куда. В «Ленинку», «Горьковку», к троюродным московским тетушкам, к приторно пахнущим московским дружкам и подружкам. Я поставил семисотграммовую бутылку «Лимонной» в тумбочку и пошел бродить по общезнанию. Никого не нашел. Вернее, попалась на пути только Ева Иванскайте. По виду – обычная полнеющая русская молодая особа короткой стрижки и весьма неопределенных лет и занятий. Но я приказал себе не пить в одиночку. Я держался очень долго, много лет от искуса пить одному, захлопнув все крышки, все люки, опустившись на самое дно омут... Я не пил один, и мы сели в моей комнате пить с Евой Иванскайте. Водка кончилась быстро. Приятная тупость поселилась мягким рыжим котом в мозгах, свернувшись клубком в моей уютной голове. Теперь хотелось одного: поставить на тяжеленький плоский магнитофончик «Электроника-305» кассету с Deep Purple, The Book of Taliesin или кассету с ранним Pink Floyd, прикрыть глаза и о чем-нибудь помечтать – цветно, крылато, без якорей и тормозов...

– Спасибо, Ева, за компанию. Пока!

– Как! А...

– Не могу.

– Почему?

– А у тебя... У тебя изо рта плохо пахнет.

– Ну, ты и сволочь!.. Да я... Да меня пол-Вильнюса пе-

ре.....

– Вот езжай в свой Вильнюс, там и .....!

Ева, конечно, поведала об этом в своей «нехорошей» 806-й, нажаловалась на Ружина. Ружин вошел анналы факультетских легенд. А это не так уж и мало. Анекдот – тоже искусство. Скворцов учился на филфаке четырнадцать лет, с перерывом на тюрьму и «химию», за «недонесение», за то, что не настучал на соседа-наркомана – он ни в какие анналы не попал. Просто, без искусства жил. Просто, без искусства страдал. Кому это интересно?.. Может быть, меня тихо, но твердо не любят на кафедре за то, что они живут просто, *без искусства* и будут так жить до самой смерти?..

Конечно, меня не любят и за идеографическую грамматику и за семантический синтаксис. Для них синтаксис – это раздел школьной грамматики, для меня – глава поэмы о любви и ненависти слов друг к другу. Про поэму не я придумал – Андрей Белый (Белый А. Поэма слова. – Петербург, 1922). Семантический синтаксис – сын семиотики. Из всей обширной группы объектов семиотики наибольшая общность обнаруживается между языком и художественной литературой, то есть искусством, использующим язык и только язык в качестве своего средства. Из безбрежного моря объектов этого мира наибольшее сходство обнаруживается между человеком и его языком...

Для меня любой косноязычный человек некрасив не только внутренне – обязательно внешне. В моей математике меж-

ду ментальным и физическим телом не просто знак приближительного равенства – абсолютного тождества... Когда-то это было очевидной нормой. Моисей был страшно косноязычен. И урод, каких поискать. Злой был дядька. Морил своих евреев голодом. Наказывал за малейшие провинности. Про сорок лет хождения по пустыне источники врут. Точнее – здесь досадное недоразумение при переводе древнего текста. На самом деле он вел свою толпу через перешеек между Африкой и Азией не сорок лет, а от силы полтора месяца, дней сорок. Но достал всех крепко, из египетского рабства бедные евреи попали в жалищее тучей комаров нуднее нудного фарисейство. Туда нельзя, сюда нельзя, черно-бело не берите, да и нет не говорите... В качестве компенсации за долготерпение, евреи придумали миф, что они самые умные. С тех пор любой еврей считает себя самым умным. Ерунда, что евреи жадные или скупые. Скупы французы, жадны датчане, евреи просто считают себя самыми умными... А это неправда. Евреям обидно. Похвастаться им больше нечем. Оттого их знаменитая грусть... О Господи, кажется приземляемся! Внизу – зеленое море сосновых лесов под Красноярском. Чего только не придумаешь, какую несусветную чушь не станешь крутить в своей башке, лишь бы только отделаться от мыслей о смерти...

## 2

Первые два года в университете, наверное, заложили хребет моей образованности, но были довольно скучными. Зубрежка и картошка. Вот чем были эти два года...

Я обломал зуб мудрости о гиперфонемы Панова, выучил наизусть около ста латинских пословиц (любимая: «De gustibus et coloribus non est disputantum»), в «Слове о Пльку Игореве...», правда, смог выучить только начало:

*Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми  
словесы трудныхъ повестий о пльку Игореве, Игоря  
Святъславлича?*

*Начати же ся тъй песни  
по былинамъ сего времени,*

*а не по замышлению Бояню!*

*Боянъ бо веций, аще кому хотяше песнь творити,  
то растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ  
по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшетъ бо  
рече, първыхъ временъ усобище...*

А вот несравненной Ёлкиной я сдавал старославянский семнадцать раз! Кажется, это был абсолютный рекорд факультета, во всяком случае, когда я приехал через год после выпуска из Атагуля на стажировку и появился в обще-

житии на Вернадского, меня представляли «поколению младому, незнакомому» именно таким образом: «Это тот самый чувак, который семнадцать раз сдавал старославянский Ёлкиной». Первокурсники после этих слов кончали свои щенячьи визги...

В принципе я мог бы сдать со второго раза. Сам-то считал, что достоин «старослава» с первого. Подумаешь, запнулся на творительном падеже четвертого склонения, а аорист пытался рассказать по Хабургаеву (знающие люди говорили, что сдавать Ёлкиной по Хабургаеву – всё равно, что знакомить жену с любовницей, не надев бронежилета) ... Что, не хватит для зачета? – Нет, – сказала Ёлкина. – Придете в следующий раз.

Я пришел в следующий раз, ровным счетом ничего не перечитывая. У меня вообще не было учебника Ёлкиной, только куски чужих конспектов. «Вы решили взять меня измором? – А насколько нам пригодится такое железобетонное знание мертвого языка, если мы, например, будет преподавать в школе? – Э-э, не скажите, молодой человек, – Ёлкина показала пальцем в ту сторону небесных сфер, где, наверное, были прописаны с 988 года Ярила с Велесом. – Сорок лет ко мне приходят бывшие студенты и благодарят, потому что они, прослушав мой курс, сразу могут ответить ученикам, почему мы говорим: „здравоохранение“, а не „здоровоохрана“ и почему „хочу“, но „хотим“! – Понятно, – грустно кивал я и путался в парадигме склонения существительных на «-

а». Нина Максимовна мило улыбалась, спрашивала, а правда ли, что в Атагуле вообще нет зимы? – Нет, – говорил я, – зима есть, бывают морозы до минус десяти, но зима очень маленькая, с середины декабря по середину февраля, а то вообще до Нового года может не быть снега, в обед 31 декабря, был такой год, все ходили под солнцем по чистому асфальту в пиджаках и кофтах, первый снег пошел в половине двенадцатого ночи. – Хорошо, – мечтательно произносила Ёлкина. – Конечно, хорошо, – говорил я и добавлял: – Приезжайте! – Обязательно приеду...

Потом я ходил к ней домой. Я пошел на принцип. Ничего не читал и шел, надеясь на то, что она когда-нибудь устанет и поставит мне зачет после двух-трех правильно рассказанных парадигм. Она не уставала. Ёлкина желала услышать всё, что написано в учебнике старославянского Ёлкиной. Слушала напряженно, затаив дыхание, не скрываясь, переживала. Когда я делал ошибку, она с ненаигранной, с натуральной болью восклицала: «Да не «-а» здесь окончание, не «-а», а «-у»!.. – качала головой и шла ставить чайник. Потом мы пили чай с ее очередным тортом или пирожными. Особенно ей удавались слоеные торты. Одних разновидностей «наполеона» она делала семь-восемь. Когда она служила в войну санитаркой, таскала на себе раненых из боя, видела горы трупов и поля, усеянные оторванными конечностями, ей хотелось одного – сладкого...

Когда я приехал через год после выпуска на стажировку



и появился в общежитии на Вернадского, меня в некоторых комнатах (а обойти нужно было весь восьмой-девятый филфаковский этаж) иногда представляли «поколению младому, незнакомому» именно таким образом: «Это тот самый чувак, который семнадцать раз сдавал старославянский Ёлкиной»...

Сереже Скупому меня никак не нужно было представлять. Три года мы делили с ним жизнь дворников ДЭЗа в районе метро «Парк Культуры» со стороны Фрунзенской набережной и соответственно улиц имени Тимура Фрунзе, Фрунзенских Первой, Второй и Третьей...

Три университетских года одновременные с дворницкой жизнью шли в полном соответствии с геометрией Лобачевского, доказавшего, что параллельные прямые пересекаются. Никуда так стремительно я не стремился, как из квартиры-коммуналки, шабашек «на стеклах» и «на шурфах», игры на бегах, из ночных попоек, драк и примитивного флирта – в лекционные и семинарские аудитории, тишь библиотек, а из тиши библиотек, из семинарских и лекционных аудиторий – в квартиру-коммуналку на четверо хозяев, свой участок в старом дворе на Третьей Фрунзенской... Вот, как всегда без четверти восемь утра, ты выметаешь последние желтые листочки из-под бордюров, а из третьего подъезда выходит Татьяна Доронина – главреж одного из двух Московских Художественных театров, садится в белую «Волгу», как всегда здоровается первой: «Здравствуйте, Андрей! – Доб-

рое утро!»... Но дворницкая зарплата – пшик, чуть больше стипендии, поэтому – шабашки: протирка стекол – клиника Первого меда на «Спортивной», Министерство сельского хозяйства на «Парке Культуры» и МПС на «Лермонтовской»; шурфы – о эти шурфы, изыскательские ямы под фундаментами очень старых, старых и нестарых московских домов, отрытые нами – мной, Лехой, Колей – в стольких местах Москвы, что прикалывай мы флажки к тем местам карты, где их рыли, мы рисковали бы тем, что за флажками не видно было бы карты, – благодаря вам, дорогим моим шурфам, я понял, что Москва – не город, а целая Вселенная из нескольких эпох, но двух лишь почвооснований, – на шурфах можно было срубить пять, семь, десять дворницких зарплат с одного объекта, то есть за неделю, да, тяжеловатого труда, бетон вскрываешь из подвалов ломami, ломы тупятся через два-три часа адской работы, весь дрожишь, как осиновый лист, ведь каждый твой размашистый удар встречен полным бетонным равнодушием, вскроешь бетон – все руки в кровавых мозолях, перчатки, пластырь, бинты – ерунда, не защитники, – еще не победа, еще копаешь саму яму, сам шурф лопатой со спиленным наполовину черенком, иногда до пяти метров, сверху – «культурный слой»: обломки кирпичей, мусор, шлак, корни деревьев, не продерешься, только потом песочек или суглинок, метрах на двух, редко когда на метре, затем еще замеры и собирание проб в бюксы, хотя это – самое сладкое, таких шурфов на объекте от четырех до два-

дцати, работка та еще, сказать по правде, одни крысы чего стоят, с ними нужно научиться жить дружно, например, на Митинском рынке, сто лет назад здесь торговали молоком, через три часа торговли, что не продали – на землю: холодильников не было, – земля на Митинском ранке пропиталась молоком на сто лет вперед, крысы на Митинском величиной с кошку, сойдутся штук пятнадцать из разных углов подвала какого-нибудь бывшего мясного ларька, сейчас похожего на бункер Кенигсбергских укреплений вермахта весной сорок пятого, смотрят крысокошки на тебя так выжидающе, ну что, чувак, смерти ищешь, или как? – Или как, – сквозь зубы отвечаешь, и бросаешь в дальний темный угол свой обед им на поживу... После каждого объекта, по закону Архимеда, чтобы вернуться с такими деньгами, вернее, без денег, ну в общем, в некое состояние жизненного равновесия, а главное – в аудитории университета, нужны были бега – метро «Беговая», настоящий игрок ставит в тройном экспresse и знает, что на Полишкина, пи....., ставить нельзя ни в коем случае, даже если он едет на фаворите с резвостью космической ракеты: обязательно проскачку сделает, аль еще как подоср..., вот на Аллу Ивановну всегда можно поставить, но всё равно в конце всё проиграешь, – ах как славно, проигравшись в прах, до последних пяти копеек на метро, доехать с одной пересадкой до «Парка Культуры», дойти до дома – ровно одна сигарета, нашарить в тумбочке рублей сто заначки, начать пить втроем, окончить целым та-

бором, ночью подраться с таксистами-спиртовозами, потом кого-то снять на Садовом кольце возле любимого книжного «Прогресс», сейчас беспробудно спящего, проснувшись, гнать эту лимитчицу взашей, без малейшего шанса на вечерний звонок и последующую тусовку, а тем более сиюминутный душ и пряник, швырнуть ей факинг юбку, прикрой срам! – две сигареты «Явы явской» и три рубля на тачку – прощай, как там у Палладия Афинского? – «Женщина, в общем-то, зло // Правда, хорошей бывает // Или на ложе любви, // Или на смертном одре...»

Сережа Скупой заканчивал аспирантуру и по-прежнему жил на истоке Комсомольского проспекта, хотя за то время, пока меня в Москве не было, успел жениться, прописаться к жене, правда, в коммуналку, далековато, правда, от цивилизации, от метро «Сокольники» еще полчаса на трамвае пилить, успел и развестись... В ДЭЗе давно не работал – платил и, по его словам, немало за то, что продолжал числиться по метельному ведомству и жить на служебной жилплощади... Скупой, кстати, это не прозвище, а натуральная фамилия, как жаловался Сережа, весьма незначительная: он никому не мог отказать в просьбе занять двадцать-тридцать-сто до полочки, чем все его знакомые всю жизнь успешно пользовались... По этой причине, а также по той, что Сережа был сибарит, жить любил изящно, ему бы лордом Байроном родиться, иль хотя бы Шелли, зарабатывать приходилось Сереже много. Он окончил наш филфак, отделение «Русский

как иностранный», хорошее, хитрое отделение, академических знаний оно давало почти столь много и основательно, как и фундаментальное, русское отделение, но, как и на романо-германском, здесь прилично изучали два языка – Сережа знал английский и французский...

Кормил меня Сережа тушеными овощами, долго ждали, пока приготовленные помидоры-баклажаны-перцы охладятся... Я сильно подозревал, что мяса у Сережи в доме давно не водилось, но вот так он устроен: тушеные овощи горячими не едят...

Наконец, Сергей поставил на стол тарелки с ужином и... бутылку «Камю» семилетней выдержки... Для осени 1991-го года, когда оральные сигареты без фильтра типа «Прима» – паслен с соломой пополам, продавались по карточкам, когда пустыми были полки даже в магазинах «Березка» на Киевской и на Сиреневом бульваре, не говоря о заштатных «Кулинариях» и продмагах, когда московские старухи жили тем, что выстраивались по длине всей улицы Горького-Тверской, продавая те же сигареты, которые час назад купили на противоположной стороне на пятьдесят копеек дешевле у такой же бесконечной вереницы московских стариков, когда бутылку водки подозрительного осетинского разлива можно было купить только у спиртоносов, по цене авиабилета из Москвы до Киева, который, впрочем, приобрести по своей цене было невозможно, – это было так удивительно, словно бы в дверь твоей квартиры на окраине Магадана, где ты уж год сидел без

копейки денег и надежд на лучшее, злой, голодный и небритый, позвонили, ты открыл, а на пороге стоял Дэвид Бэкхем в футболке «Макдоналдса» и спрашивал: «Пиццу заказывали?»

– Это для начала, – сказал Сережа и сделал паузу. – Это от Коли Удовиченко. Он, как понимаешь, человек занятой, бизнесмен, не чета нам, но прослышал, что ты приехал, вот просил передать по старой дружбе... Ничего, что я на стол поставил?..

– «Для начала»? А что дальше-то будет? Шерон Стоун с воплями: «Андрюша, я ваша на веки»?

– Ну, Шерон Стоун пока не обещаю... Ты ешь, ешь, остынет, – плоско пошутил Сергей, но я принялся откупоривать незнакомую до двадцать шестого года моей отнюдь не скучной жизни бутылку, потом выпили по рюмке, с таким чувством, наверное, Колумб бродил по западноатлантическим островам...

Если бы Сережа Скупой не был так безапелляционно уверен во всем, что бы он ни говорил, он был бы приятным собеседником. Но потерпеть час-полтора его можно, мало того, за это время можно, фильтруя его выводы, конечно, впитать кое-какую полезную информацию. За те три года, когда мы жили в одном подъезде служебного дэзовского дома, я узнал суть философии Герберта Честертона, не прочитав еще его книги, причем в весьма оригинальной формулировке: «Нет ничего хуже служить интеллекту, потому что по-

ка одни служат интеллекту, другие им пользуются». В этой формуле «интеллект» был некоей переменной, допускающей подстановку «культуры» вообще, «искусства» в частности, «науки» и «умения жить». А идею «Заката Европы» Шпенглера я уяснил от Сергея Скупого на вполне доходчивом примере: вот сидит секретарша ректора МГУ – в смысле Молдавского государственного университета (Сережа был родом из Кишинева) – вокруг ума палата, не ей добытая, и красная ковровая дорожка, не ей сотканная, но она-то думает, что во всем, что ее окружает, есть некая ею прибавленная стоимость, потому что без ее техницизма невозможна никакая власть в университете, потому что вся современная цивилизация – это уже не ума палата и не умение ткать ковры, – это лишь ленточный червь власти: президент академии наук – министр образования – класс ректората – класс секретарш ректоров. Всё! На самом деле эта вроде бы безобидная секретарша, перед которой склоняют головы профессора, заглянувшие в микромир и по ту сторону добра и зла, перед которой они безотчетно робеют, – эта секретарша скрывает в себе центр подмены власти культуры на власть воли к власти... Сам текст «Заката Европы» я прочитал через несколько лет после Сережиного объяснения (... Новосибирск: Наука, 1993)...

Другое дело, что Сергей не просто читал всё раньше всех и лаконично обо всем рассказывал, он еще и комментировал... Если язык как коммуникация дан нам, чтобы писать

книгу жизни, а язык как искусство – лишь для того, чтобы книгу жизни комментировать, то Сережа Скупой явно злоупотреблял этими комментариями. Например, он не просто заявлял, а доказывал, что все пушкинисты – любители объедков с барского стола, а как-то сказал, что Набоков написал «Лолиту» лишь для того, чтобы не умереть с голоду на берегу Женевского озера. Я не самый яркий поклонник Владимира Владимировича, но так ревновать к классику – по-моему, перебор... Сережа писал. Делал переводы художественной литературы с английского, потому что это во все времена кусок хлеба. Писал статьи для научных сборников, ну да кто ж их не писал. Еще он писал роман. В отличие от первых двух родов написанного, третий он никому не показывал, хотя все о его рукописи знали, судя по его манере мыслить, он считал свой роман чем-то необыкновенно ценным...

– Так! А вот вторая серия, – Сергей вынул из нагрудного кармана джинсовой куртки пачку острореберных банкнот. – Это тоже тебе, тоже от Коли. Там две штуки.

– Шутишь, блин! Пошел ты...

Какие шутки! Бери!

Что это такое, я тебе говорю?..



В аэровокзал я не попал: транзитных пассажиров выводили через маленький терминальчик сбоку от здания аэровокзала. Ох уж эта геометрия аэропортов! Портики Древней Греции, порты Британии, порталы Интернета. Семнадцать тысяч лет человечество не менялось в своей любви к узким проходам... Пожалуй, только в Борисполе (по-украински: Бор [ы] споль, по пра-славянски: «стан борцов»), аэропорту под Киевом нет никаких боковых терминалов, там всё цельно, всё вкупе, всё на двух этажах круглого аэровокзала, а через каждые полчаса по широкому проходу между залом ожидания и буфетом идут плечом к плечу семь толстущек-уборщиц в белых халатах и толкают перед собой швабры с мокрыми тряпками по малахитово-серому линолеуму. Когда-то с Женей Скороглядковым (дружеское прозвище – ротмистр Минский) мы просидели в Борисполе шесть суток без копейки денег, ожидая самолета рейса «Киев – Ростов – Атагуль». Лёшка Петров, он же штабс-капитан Чемоданов, улетел алмаатинским рейсом: мы, а главное – он сам, были уверены, что только штабс-капитан сможет добраться из Алма-Аты в Атагуль, не имея ни копейки собственных денег (так оно и получилось: случайный попутчик, сосед по ряду кресел, оказался коренным атагульцем и одолжил Лёшке сто рублей) ... Ах, да: меня тогда звали поручик Ржевский...

Боковые терминалы, пассажи, накопители есть во Внуково, Быково и, конечно, Домодедово. В Воронеже и Чите. В Новосибирске и Риге. В аэропорту «Парнас» города Атагуля и в аэропорту «Пулково» под Ленинградом-Петербургом. В Бакинском аэропорту рядом с такими проходами всегда торгуют красными гвоздиками интеллигентные азербайджанцы, азербайджанцы, даже торговцы, даже урки – довольно мягких манер, в отличие от всех других семитских народов, включая не только северокавказский вавилон, но и арабов и тех же евреев...

На привокзальной площади аэропорта Красноярска остались только я, соискатель степени кандидата филологических наук Андрей Ружин, и этапируемый парень в наручниках и с древней яфетической грустью в глазах. Его сопровождали два опера. Ни у меня, ни у подследственного не было чемоданов, нам не нужно было перемещаться в аэровокзал к заедающему конвейеру и бедным чемоданам, бьющимся унылыми углами о тупые углы...

Сосновые леса под Красноярском похожи на сосновые леса под Екатеринбургом...

- Андрей Васильевич, собственной персоной!
- Здравствуйте, Наталья Витальевна!
- Быстро меня нашли? Не плутали по городку?
- Да я бы с удовольствием поплутал. Иду по сосновому скверу, а с деревьев белки спускаются и в глаза заглядывают.

– Да уж, они у нас такие. Предпочитают грецкие орехи, но не отказываются и от печенья «Солнышко»... Ставьте сумку в ту комнату, там и будете жить.

– Наталья Витальевна!

– Всё, решено! Надеюсь, вы не в последний раз, в следующий поселитесь в гостинице, она, кстати, в этом же доме, а пока потерпите мой избыточный дискурс. Значит, так...

В Красноярске, за отелем «Красноярск» есть мостик Цветаевой, ажурная деревянная арка через канальчик, похожий на миниатюру питерского канала Грибоедова... Темно-синие спины Саянских предгорий за Новым городом, широкий мост через Енисей, под которым, на берегу, неизвестно как, примостился между рекой и прибрежными зданиями Нового города стадион специально для игры в русский хоккей, кажется, единственный в мире – обычно для игры в хоккей с мячом просто в ноябре заливают под лед поля футбольных стадионов... Красные дома главного проспекта Старого и всея города, от него идут переулки. Они здесь прямо семантичны. Они действительно пересекают под прямым углом главную улицу и упираются одним концом в безлесье красные холмы, другим – в берег Енисея. И Стрелка здесь прямо семантична. Стрелка – по-древнерусски «встреча двух рек под острым, как наконечник стрелы, углом»... А когда едешь на автобусе с университетской окраины, с окончания проспекта Свободного к центру горо-

да, в районе подхода к железнодорожному вокзалу десятка путей видно с моста целое озеро красных и зеленых шагаловских крыш...

Мы идем с Натальей Витальевной по скверу Первого микрорайона, где она жила в однокомнатной квартире раньше, до того, как в более чем сорок лет первый раз вышла замуж, и в ещё более за сорок родила сына Витю. Во всех сибирских и дальневосточных городах, вытянутых вдоль больших рек, есть Южный и Северный микрорайоны, где девятиэтажки, пустыри, гаражи, лопухи и лебеда, а самый старый, утопающий в зелени деревьев микрорайон из пятиэтажных коробочек бесхитростных «хрущевок», иногда по торцам разукрашенных мозаичными панно, зовется Первым микрорайоном. Мы говорим о всякой всячине, почти не думая о том, что говорим, а в центре сознания мысль о том, какую схему диссертации придумать... Навстречу бежит мужинка с перекошенным от испуга лицом. Встречается с нами, почти кричит: «Что, уже закрыли?!» Рубит рукой воздух и бежит дальше... Наталья Витальевна вдруг заливается расщепчато-звонким смехом. «Андрей Васильевич, мы с вами, знаете, как идем? Со стороны винного магазина. С пустыми руками. Время около семи... Представляете, пресуппозиция!» Мы смеемся вместе... Пресуппозиция – это знание, скрытое в ситуации и хорошо известное участникам данного речевого акта, поэтому нет необходимости выражать его языковым способом. Вино и водку в те годы продавали только до семи

вечера. Мы шли по направлению от винного магазина и с пустыми руками. Для встречного мужчинки любая живая душа, идущая со стороны винного магазина около семи, была родственной душой...

На кандидатском экзамене по специальности мне попались вопросы «лексическое значение слова» (доцент Григорьева), «время глаголов как способ выражения нарратива» (профессор Верескова) и «причастия старославянского языка» (профессор Езеров). Доценту Григорьевой, сразу было видно, больше всего понравилось то, как я говорил про диффузность лексического значения. В слово «синий» каждый индивидуум вместит свой список объектов действительности, столько непоименованных величин световой волны, что располагаются между полюсами «голубой» и «фиолетовой», сколько идентифицирует именно этот индивидуум, список другого индивидуума будет отличаться от списка первого, и так далее. Реальное значение слова «синий» может быть установлено только «закрашенной», общей областью совпадений регулярного множества списков, причем «плавающей», а посему условно, диффузно, а стало быть, с реальностью лексическое значение слова «синий» имеет лишь что-то общее, но отнюдь не тождественно ей (если бы все люди понимали это, они не были столь самоуверенны в массе своей, – хотел было добавить Ружин, но сдержался). Примерно так же обстоит дело с описанием всех объектов действительности, их характеристик, действий, осуществле-

ний, отношений между объектами, а что касается оценки – здесь необходимо говорить даже не о диффузности, а о бесконечности: между операторами оценки «хороший» и «плохой» можно поместить бесконечное множество абсолютных и относительных величин мира действительности, причем попеременно подключая то к одному оператору, то к противоположному, при этом никакая из формул оценки не добавит ни одного бита знания о самом объекте. Если я скажу о воде «водичка», а о суглинке «грязь», это не опишет ни одно из мельчайших свойств самих объектов, а будет говорить только о моем собственном состоянии, причем только в момент речи и ни в какой иной (степень моей искренности необходимо ещё верифицировать) ... Чуть склонив голову, спрятав взгляд от собеседников и приглушив обертоны речи, испытуемый добавил, что исследование лексического значения слова, по его мнению, не имеет почти никакого смысла без рассмотрения онога на пространстве текста или как минимум предложения. Ведь только из предложения «Вчера вода была холодна, а сегодня тепла» становится понятно, что объект «вода» обладает свойствами изменения температуры за короткий период времени, а о субъекте можно сказать уже очень много: он обладает чувством осязания, памятью, способностью к анализу, сравнению, сопоставлению, суждению, суждению во времени, то есть рассуждению, и в конечном итоге – имеет определенное сознание.

О морфологии глагола как показателе нарративных

свойств речи я говорил на примере текстов нескольких современных красноярских писателей. Передо мной лежала тонкая книжка в мягкой обложке, Наталья Витальевна подчеркивала карандашом глаголы, а я говорил, какой стороной поворачивается повествование в зависимости от видо-временных и залоговых форм глагольного употребления: «Он подошел к её дому без четверти семь. По двору со скучающим видом гулял петух». Совершенный вид прошедшего времени здесь (и обычно) обозначает взгляд со стороны автора-повествователя, несовершенный – взгляд со стороны героя. Совпадение момента чтения с моментом описываемого действия – взгляд со стороны читателя... А в причастиях я судорожно плавал...

Профессор Езеров тщательно вывел в протоколе «отлично» наливным пером. Перехватил мой взгляд, наконец, за весь экзамен в первый раз, улыбнулся и сказал: «Весьма достойно... Правда, о причастиях вы могли бы и поинтереснее рассказать...»

Оказывается, мало куда-то благополучно прилететь, как это ни банально – гораздо важнее оттуда улететь. Любое путешествие – та змея, что силится укусить свой хвост. Никогда не укусит: хвост уже не тот, – ну да разве в этом дело?!

Билетов домой не было. Ни в одном агентстве ни в Старом городе, ни в Новом... Нет, в Новом, как раз за мостом, мне предложили лететь во Владивосток, и я чуть было не согласился. Потом подумал: они-то свои 5 процентов за продажу билета получают, и дело с концом, а я то за что должен страдать?! «От Владика до Этого города чуть-чуть, от Владика до Этого города рукой подать...» На языке жангжунг, на котором были написаны книги древней тибетской религии бон, «чуть-чуть» – семь километров, но ведь не семьсот! А потом – денег у меня, прямо скажем, оставалось маловато... Я приехал к Наталье Витальевне и, как родной тете, посетовал на свои трудности. Она вытащила из маленькой тумбочки под большим телевизором пачку денег, похожую на кирпич в миниатюре. Ружин никогда ни до ни после этого не видел таких пачек денег, ни по телику, ни в жизни: обычно пачка денег – это банковская пачка стандартных размеров, сантиметр по ребру, не более, а здесь почему-то вспомнился красноречивый пример из школьного учебника физики, там, где говорилось об атомарном устройстве тел: если просто по-



ложить очень гладкий брусок свинца на столь же отшлифованный кусок олова, то примерно через 25 лет они срастутся, как бы приварятся друг к другу, – перемешивание молекул происходит не только на границах газов и жидкостей, но и тел... Увесистый кирпичонок денег вконец переполнил меня желанием поскорей улететь домой: я уже сильно тяготился сверхзаботливым и сверхинтеллигентным гостеприимством Натальи Витальевны – нельзя быть таким правильным, таким интеллигентным человеком: самой двигаться по своим же комнатам, как невесомая тень, и заставлять так же скользить тенью между спальней, ванной и кухней мужа и четырехлетнего ребенка, пока гость – соискатель Ружин ещё спит; предлагать в обед на выбор борщ или куриный суп, а на второе – котлеты по-киевски с овощным гарниром? А к чаю боорсоки? Наталья Витальевна аккуратно вернулась из командировки, с научной конференции с юга Киргизии, из города Ош, к боорсокам, к воздушным мучным мячикам, словно три «о» в самом слове, её пристрастила профессор Нургалиева... Откуда деньги, продукты? Ну не из нищей же профессорской зарплаты! Не из полупустых магазинов ведь! Пятидесятилетний муж Натальи Витальевны с давно поломанными ушами профессионального борца руководил красноярскими «качками», «крышевал» казино и ночные клубы. Бывает и так.

Я отрицательно мотал головой так отчаянно, что профессор Верескова предложила не думать уже сегодня о транс-

портных проблемах, а взять Витю и прогуляться по университетскому городку.

Малыш под академическими соснами был спокоен и вальяжен, не то что в шумном городе, утыканном сетью магазинчиков и киосков с мелкими детским радостями. Белки жарким вечером прятались где-то в кронах сосен. Студенты спали в трех высоких общежитиях в зазоре между жизнью аудиторной и самостийной... Как спал в неурочное время когда-то и я...

Вышли на футбольное поле. Огороженное только соснами. Теплая зелень травы и прохладная зелень хвои. Футбольные ворота казались воротами в рай.

– Наталья Витальевна, а я окончил детско-юношескую спортивную школу по футболу. И даже, верите-нет, сыграл два матча за команду мастеров. Вторая лига. «Текстильщик» Атагуль.

– Андрей Васильевич, филолог – это... ну как сказать... нормальная профессия. Вы ведь об этом подумали?

– Наталья Витальевна, но ведь модус предложения и модус текста – это одно и то же!

– Конечно! Но я просто знаю, а вам нужно это доказать. Причем в диссертации. Доказывать что-либо в диссертации – не просто сложно, но и как бы недальновидно, если честно, обычно диссертация – это мелкие дополнения к давно известному. Иначе ее трудно защитить.

– А зачем тогда она нужна?

– Так вы хотите не просто получить степень, но и что-то доказать?

– Да.

– Так что ж вы сразу не сказали?!

Тут же, в парке университетского городка Красноярского университета, Наталья Витальевна, словно рассуждая сама с собой, за три минуты проговорила схему, план, «болванку» диссертационного сочинения. Вскоре мы вернулись в квартиру с тысячью книг и кухней без окон. Я взял простую шариковую ручку за тысячу двести рублей – бывшие рубль двадцать, и эту «болванку» записал...

А утром радионовости сообщили, что правительство вновь, как это уже было пару-тройку месяцев назад, разрешило авиакомпаниям страны поднять цены на билеты. С первого числа. Сегодня было тридцатое. Но зато в агентствах перестали лгать, что билетов нет, и в этот же день я смог взять билет на самолет, летящий домой. По маршруту Калининград – Нижний Новгород – Екатеринбург – Красноярск – Этот город.

...Оказывается, мало куда-то благополучно прилететь, как это ни банально – гораздо сложнее оттуда улететь. Любое путешествие – та змея, что силится укусить свой хвост. Никогда не укусит: хвост уже не тот, – ну да разве в этом дело?!

О, странный Ружин, наивный Ружин! Разве можно, даже имея билет в кармане, садиться на автовокзале в автобус и, благостно улыбаясь на мягких и зеленых холмах под

Красноярском, катить в аэропорт, катить, обнимая сумку, где папка с протоколом о сдаче кандидатских экзаменов, листочек с «рыбой» диссертации – лучшей из рыб?! А позвонить прежде, нет ли задержки рейса? Она есть, она есть неотвратимая, как ночь ровно через три часа, когда раскаленная сковорода солнца окончательно закатится за вон тот холм, за тот вон лес, потому что на дворе конец очч-ень неприятного века не самого приятного из тысячелетий, год тысяча девятьсот девяносто четвертый от Р.Х., когда ещё трудно, почти невозможно купить виниловую пластинку с двойным альбомом The Wall уже погибшей, но всё ещё светящей звезды по имени Pink Floyd, а до эпохи, когда за двадцать минут можно закачать на свой домашний компьютер всё, что ты с таким трудом полюбил за всю свою жизнь, в форматах «doc», «jpg», «mp3» и «avi» закачать, – до той эпохи ещё лет семь-восемь, и их нужно ещё прожить, хотя бы улететь домой, а самолеты без керосина не летают, а керосина нет, хоть ты тресни, в городе Екатеринбурге, бывшем Свердловске, в свою очередь бывшим Екатеринбургом, а когда появится – никто не знает, и дежурный оператор оповещения пассажиров в который раз говорит, с хорошей дикцией, но все же голосом, который вряд ли стоит носить женщине, что рейс номер пятнадцать семьдесят три задерживается в аэропорту Екатеринбурга по техническим причинам. Сутки, двое, трое, четверо... Мне кажется, каждое кресло на втором этаже стало меня узнавать и извиняется, если я

пришел с перекура, а оно кем-то занято... Пятеро, шестеро... После «десятеро» русские собирательные числительные заканчиваются... Шестеро... Я дважды прочитал единственную книгу, которая у меня есть – Гессе Герман. Вибране. Збірка / Пер. с нім. – К.: Фірма «Фіта Лтд.», 1993. – 464 с. – Рос. мовою. «Покидая рощу, где пребывал Будда и где оставался Будда и где оставался его друг, Сиддхарта почувствовал, что в этой же роще он оставил за собой всю свою прежнюю жизнь, что он навсегда расстался с нею». О, если бы всё было так просто, как в романах Германа Гессе!.. Наконец, летим. В ночь. Летим на «большой Тушке», «ТУ сто пятьдесят четвертом эМ». Они часто падают. Особенно по ночам. Но сил нет даже бояться. Обычно боишься, не прилагая усилий.

Этот мир состоит из четырех. Четыре стихии – огонь, земля, вода и воздух. Четыре стороны света – север, юг, восток и запад. Краеугольных камней всегда четыре. Из четырех времен сложен год. Всего четыре взаимодействия – гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное – лежат в основании всего многообразия физических явлений. Из суммы четырех величин, последняя из которых – 4, состоит конечное число Вселенной:  $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ . Из четверых – Бог-отец, Бог-сын, Святой Дух и человек – складывается динамика жизни вечной. У Бога всего четыре глагола: *появляться, исчезать, стоять, идти*.

Всё остальное – производные.

Можно и так сказать: от лукавого.

Четыре месяца я положил впереди, чтобы написать диссертацию. За четыре и написал.

Впрочем, справедливости ради надо бы сказать, что кое-какая подготовительная работа ранее всё же была проведена.

В 1989 году чудесная болгарская девушка Галина Лилова, – болгарки вообще-то чернявы и некрасивы, чаще очень зависимы от мужчин – Лилова сочетала в себе независимость француженки, красоту восточной, а не южной, славянки, блондинистость и кротость северянки – с каким-то, знаете, отнюдь не женским умом, – в 1989 году чудесная бол-

гарская девушка Галина Лилова защитила в МГУ диссертацию «Авторизация и ее выражение посредством глагольных предикатов в предложениях русского языка». Это была одна из первых диссертаций в России по модусу, а может быть, и вовсе первая. Недаром защищалась иностранка. Им можно брать смелые темы. Нам нельзя. Нам можно заниматься серьезными вещами. Грамматикой, к примеру. О которой всё сказал ещё незабвенный профессор Федор Иванович Буслав (1818 – 1897). А что не успел – довысказал Виктор Владимирович Виноградов (1894/95 – 1969) в труде «Русский язык» и прочих. И кому какое дело, что сидят они теперь на небесах и грустно взирают вниз и ногти грызут от бессилия оттого, что на всем пространстве уходящего под воду истории, как Атлантида, СССР сотни аспирантов и соискателей, подавших в советы заявления с указанием специальности 10.02.01 – русский язык, занимаются, в общем-то, ерундой, тем, что выведенного яйца не стоит, то есть стоит как раз именно выведенного яйца: «Семантика суффикса -к- в отглагольных прилагательных» – ну скажите, кому это нужно?..

Так думал студент-пятикурсник МГУ Андрей Васильевич Ружин, пока не попал на эту самую защиту Лиловой. Если бы он знал, сколько лет пройдет между той защитой и его собственной?! Впрочем, жизнь тем и хороша, что наперед ничего не знаешь.

Большой, в очках Фердинанд – Федя Надеин, аспирант второго года, обожатель балета, вот смеху-то было, когда

он в кои-то веки выпил водки и показывал какое-то па своей слоновьей ногой, таскал по аудитории, как каторжанин колодку, небольшой, но, видимо, увесистый катушечный магнитофон, девятая лекционная аудитория, как войдешь в главный вход Первого гуманитарного корпуса МГУ, первая слева от «Большого сачка», была на сей раз заполнена не мальчиками, но учеными мужами, включая ученых бабушек. Ученые мужи и бабушки будто бы спали, когда Лилова читала доклад, но на обсуждении словно поочередно просыпались и задавали вопросы. Я поразился, как можно с таким безучастным видом так внимательно всё прослушать, а главное увидеть узкие места. Вопросы вонзались (глагол «вонзать» от слова «нож») в эти узкие места, казалось, так неотвратно, что бедной девушке после первого же ничего не оставалось делать, как снять изящные очки (импортные, в собьетиш «Оптиках» таких не купишь), не сдержать слезы, открыть ротик, но ничего не ответить, схватить свои листочки с кафедры, прижать к грудям-пирамидкам и сбежать вниз, с подиума, выбежать из девятой аудитории, роняя листочки, бежать по «Большому сачку», всё плача, не обращая внимания на зрителей первого ряда, головка немного вбок и немного вниз, прочь, на улицу, на проспект Вернадского, бежать по аллее, усаженной яблоньками-райками, мимо высокой черной решетки университетского городка до метро-моста через Москва-реку, слыша самую печальную из музык, и броситься с этого моста в мутные воды реки, не оста-



навливаясь, не раздумывая... Но Лилова немного раздумывала после каждого вопроса, очень убедительно играла в то, что записывает вопрос, говорила «спасибо» и отвечала так, что ученые дядечка или тетечка, его задавшие, могли садиться или вконец посрамленными или очень и очень удовлетворенными. Профессора обоих полов предпочитали второе.

Боже мой, я столько раз был на защитах, но никогда ни до ни после не видел, чтобы столько цветов дарили не научным руководителям, оппонентам, председателям, ученым секретарям, а самой диссертантке!

От диссертации Лиловой мне досталась библиография. Я взял увесистый кирпич переплетенной диссертации на кафедре, принес в общежитие и тут же сел переписывать библиографию. Натер на безымянном пальце мозоль. Завидуйте, юноши с ноутбуками! Вам никогда таких мозолей не видеть!

Конечно, кое-что я успел прочитать, законспектировать, ещё диплом «пища», как говаривал Белинский, а в эпоху постмодернизма без указания на первоисточник повторяли Евтушенко и Аксёнов.

Диплом я писал по оценочности, а стало быть, модусу и, хотя это не касалось оценки как категории модуса впрямую, научился без запинки выговаривать слова «эпистемология» (наука о соотношении слов и вещей) и «персуазивность» («оценка говорящим объективного содержания предложения со стороны его достоверности и недостоверности,

выражение уверенного или неуверенного знания»). А это не так уж и мало – если вдуматься: говорить чисто. Знавал я одного историка, русофила, который произносил слово «патриотизм», добавляя звук «и» между двумя последними согласными, и одного завкафедрой русской литературы 19 века, азербайджанца, который за 20 лет не смог (не захотел?) избавиться от жуткого кавказского акцента, а также одного министра образования, академика, который часто произносил слова «обеспечение» и «собрались», непременно с орфоэпической ошибкой в каждом – нужно гадать, много ли было у нормальных людей доверия их степеням и званиям?..

Но большую часть тех не достаточных, но крайне необходимых двадцати пяти процентов реально прочитанного из трехсот семи в конечном счете указанных единиц Библиографического списка я читал и конспектировал в серую и очень холодную зиму 1993/94 годов, когда окончательно спиться мешали две вещи – семья и отсутствие денег.

И хорошо, что вначале я получил библиографию, загорелся проблемой, начал читать литературу, а только потом при помощи научного руководителя сформулировал тему и написал план, – иначе мне грозили две неприятности: начать писать на основании всего двух-трех источников или зачитаться и вообще «утонуть в материале».

...Я прилетел из Красноярска в конце июня. Июль, август, сентябрь, не заметив, что начался новый учебный год и три раза в неделю надо что-то там преподавать в пединституте,

а также октябрь я писал диссертацию. Без остановки, не перечитывая написанного, не давая тексту «отстояться».

Давать написанному отстояться меня учил Гриша Камнев. Сосед по московской дворницкой коммуналке. Ему было пятьдесят три, он женился на девятнадцатилетней девушке, которая полюбила его из-за одного единственного стихотворения. Они потом расстались, не могли не расстаться: Гриша стал запивать, как десять лет назад, он не имел профессии, к тому же – разница в возрасте, но это не важно, важно, что красивая юная девушка полюбила пятидесятилетнего мужчину, маленького роста, лысого и без квартиры, полюбила из-за одного единственного стихотворения. Гриша очень красивые писал стихи и вообще к литературному сочинительству относился серьезно и толково. У него было золотое правило – дать тексту отстояться. Что бы ты ни написал: стихи, кусок романа, сюжет рекламного ролика, заявление в прокуратуру или письмо матери – дай тексту отстояться хотя бы день-два, лучше три-четыре, спрячь его на это время, забудь о нем, учил Гриша. И тогда и только тогда ты будешь в состоянии оценить сам, чего этот текст стоит (а лучшего оценщика, чем сам автор, Гриша представить не мог). Я поразился справедливости его слов, когда однажды перечитывал Библию. Самое начало. Книгу Бытия. Помните? В начале Бог повелел воде собраться в одно место и явиться суше. Потом назвал соответственно сушу землею, а собрание вод морями. Потом дал своему творению отстояться. И толь-

ко потом увидел, что это есть хорошо. Точно так же Царь Вселенной поступил со светом, тьмой, рыбами, душами живыми, вскоре разделенными на зверей и скотов, пресмыкающимися и птицами. Дал творению отстояться и только потом сказал, что это есть хорошо. А потом сотворил Бог человека по образу и подобию Своему, сотворил мужчину и женщину. Но времени отстояться именно этому творению уже не было, ибо был уже вечер пятого дня. Конкретно про мужчину и женщину, что это есть хорошо, сказано не было. В день шестый Бог окинул взором уже всё скопом – от суши и вод до человека, и сказал: хорошо весьма. А если было бы всё хорошо безусловно, необходимости в наречии степени не было.

В Этом городе удивительный октябрь! Драйва в нем больше, чем в The Road To Hell Криса Ри. Краски – золотые, красные, синие – такие же чистые, как на православной иконе «Благословение детей». Октябрь в этом городе – печь. В ней сгорают депрессии и усталость. Жаль, что у преподавателей никогда не бывает отпуска в октябре. Я поехал бы на Тунгуску ловить сига. Пусть колокольчики на леске, на рогатулках, нарезанных из тальника, торчащих из песка, не шелохнутся: главное в рыбалке – медитация. Смотреть на воду, у берега – коричневую, на середине – синюю, на густо заросший громадной зеленой щетиной остров, угадывать, куда ведет вон та проточка, а куда – лес за спиной, а вон те белые цветы и дарил Христу мальчишка в желтом?..

Жена врывается в комнату и говорит, что Очкастая опять забила унитаз какими-то костями, да сколько можно, мало того, что надменная, не поздоровается никогда, пигалица корявая, мало того, что не убирает, я что – одна должна за всех блок убирать, – Очкастая опять унитаз засорила! Женька Казак хоть иногда вид делает, что убирается, ну ладно, она-то костями унитаз не забивает. Комендантше жаловаться бесполезно: она всё твердит, что эту Очкастую на кафедру МХК из Ленинграда выписали, специалистка великая, видел бы ректор Незванов, какую Очкастая здесь мировую художе-

ственную культуру показывает: то сапоги в общей раковине моет, где мы посуду моем, то унитаз забьет, то на детей наорет, а вчера, слышишь, берет так демонстративно, я только в блок из коридора вошла, берет так наше белье от своей двери смачно так отодвинула, я ей по-хорошему говорю, если вам мешает, скажите, я сама подвину, на балконе уже места нет, там все вешают, она – шасть через выход возле Казаков, ни слова не сказала...

Я беру с полки книжку дневника. Она черной кожи, форматом и цветом точно под «Письмена Бога» Хорхе Луиса Борхеса. На переднем форзаце – сетка календаря на 1994 и 1995. На заднем – на 1996 и 1997. На каждой страничке сверху, возле слова «Дата» – серо-зеленые прямоугольники с изображениями Невы, это когда стоишь спиной, правым боком к Эрмитажу, а на той стороне – Петропавловка и шпиль. Низкие питерские облака, конечно... Закладка в прежней жизни была немного похожей на седло для пони этикеткой с темно-зеленой бутылки пива «Жигулевское»... Под словом «Дата» – 21.10.94, в скобках – птн.

*Позвонить в 9.05 – 9.10 О.И-чу*

*Не забыть пошутить на морфологии насчет объектности женского рода, дескать, «женищина, с точки зрения грамматики – объект... внимания»... Ну, додумать...*

*Подумать над статьей для «Этогогородской правды» – «С калькулятором по телепрограмме».*

*Позвонить К. А. П-ке – в 15—16.*

*Занести материал М-му. В 16—17.*

*Попробовать всё же не бегать за второй (получится?)*

Сейчас четверг. Вечер. Эти записи я сделал в обед, уже готовясь к дню завтрашнему... Один местный художник, родом с мыса Лазарева, самое узкое место Татарского пролива, между материком и Сахалином – восемь километров, напротив – Погиби, где бывал Чехов, пешком можно переплыть, художник писал интересные пейзажи, Амур, Уссури, Байкал, Этот город, я бы сказал, что он хрипел эти пейзажи голосом Высоцкого, этот художник свихнулся на эзотерике, а крыша у него поехала после того, как он решил написать четыре состояния одного городского здания. Раньше – городская дума, потом Дом пионеров, сейчас – какой-то навороченный универмаг. Но дело не в этом. Дело в том, что это здание похоже на терем, где сказочные персонажи отдыхают от своей вечности. Или гарем, где жены шаха разбредлись по отдельным комнаткам и мечтают выйти замуж. Он решил написать этот терем утром на восходе солнца. Затем днем, в жаркий полдень. Потом – на закате. И наконец, в сумерках... Написал... тут-то крыша у него и съехала. Насколько разными получились эти дома. Четыре осла вечности, блин! Он стал называть себя «контактером» и писать никому не нужный концептуализм с какими-то глазами, глядящими с неба, желтыми иероглифами на женском пла-

тье Рериха, нанайскими узорами на египетских вазах и Христом, похожим на заблудившегося в Солнечной системе пьяницу...

...«Попробовать всё же не бегать за второй (получится?)». Эти записи я делал сегодня в обед. Сейчас вечер. Я склоняюсь над дневником и пишу цитату из Бродского (у меня красивый почерк, я очень люблю очень острые кончики шариковых ручек).

*Идет четверг. Я верю в пустоту  
В ней как в аду. Но более херово.  
И новый Дант склоняется к листу  
И на пустое место ставит слово.*

Сегодня, двадцатого октября 1994-го года, в семь пятьдесят пять утра, я закончил диссертацию «Взаимодействие модусных смыслов в русском тексте (авторизация и персуазивность)».



Одних людей не любят сразу же, как с ними познакомятся. Это позволяет экономить время. К другим людям присматриваются... В этом прищуривании, конечно, больше иронии, чем смысла. Третьих – любят моментально после знакомства, любят если и не безоговорочно, то уж во всяком случае, выдавая им многолетний кредит доверия... Есть ещё и четвертый тип. Этих людей тоже любят сразу, но вместе с доверием вручают им длинный список обязанностей, где на первом месте, разумеется, стоит ответная любовь, но ещё и требование удивлять – часто, резкими вспышками, какими-то возмущающими повседневность серьезными проявлениями серьезного таланта. Последних, с одной стороны, можно пожалеть: ведь по идее обреченным на постоянное внимание окружающих попросту не должно хватать времени на самого себя, но, с другой стороны, только им и можно завидовать, – ведь только кто-то другой делает нас самих нами, только вне нас лежит единственная причина самосовершенствования...

Вместе со мной, курсом старше учился Корнет, он же Мишка Парамонов. Мишка принадлежал ко Второму типу, а хотел быть Четвертым. Так часто бывает, посмотрите на свое окружение – обязательно найдете взвод Корнетов. Корнет не мог быть Третьим человеком, а тем более Четвер-

тым, хотя бы потому, что имел кличку. Клички, прозвища, псевдонимы – прерогатива людей, которых не любят, к которым, в лучшем случае, вечно присматриваются. Кроме того, Корнет мог разбудить рано утром, сказать, что внизу, под общежитием его дожидается таксист, ему нужно дать сорок рублей, ему Мишка куртку в залог оставил, дай, Андрюха, на два дня, вы даете – Мишка берет и исчезает на месяц, а о сорока рублях забывает, зная, что вы человек не просто интеллигентный, но ещё и гордый, назад не потребуете. Такие люди, как Корнет, к Четвертому типу не могут принадлежать, исходя из наличия хотя бы одного подобного поступка. Но это не мешает им выстраивать собственную PR-кампанию. Где нет серьезного таланта, обязательно найдется несерьезный. Например, в понедельник, как бы между тем, ни с того ни с сего, Корнет говорит, что в четырнадцать лет был таким гибким, что мог... Вставал и уходил, резко потрепав у уха свои блондинистые пряди. Вы тупо смотрели на черный флаг с белым символом... Во вторник он надевает свою куртку, алую, часто стираную, но силу тона не потерявшую, на спине – большой кремовый кленовый лист, на Пятой швейной фабрике такую не сошьют до окончания Русского века, вы едете в Черемушки, пить на халяву пиво у его друга, москвича, москвича, конечно, не оказывается дома, но в пятом трамвае Мишка знакомится с ещё не совсем потускневшей дамой бальзаковского возраста (а вот сколько это? сам Бальзак умер, кажется, когда ему

было чуть за 50, как раз после свадьбы с мадам Ганской...), он улыбается, дама улыбается, они говорят о каких-то пустяках, дорога не очень по московским меркам длинная, да и вообще в трамвае знакомиться не принято, но Мишка уверен в себе, когда мы выходим, дама почти натурально облизывается, стараясь зафиксировать ощущение, что рядом был такой сладкий мальчик... В среду вы идете в пивную «Под кленами», сладкий Корнет с жестоко большим полукругом разбивает кружку о голову кабацкого ярыжки, которых со времен Алексея Михайловича до скончания «перестройки» водилось по Москве во множестве, выклянчить кружку пива или стопарик никто так ловко, кроме этой породы, не умеет... ну и кайф обломать тоже: через пару секунд, как прилипнет, уже кажется, что в твоём пиве сучит конечностями грязная муха... А в четверг заходит часов в одиннадцать, вечер только начинается, к Корнету Ленька Свист, а Корнет и Ружин сидят возле открытого окна, орут в джинсово-синее московское небо песню: «Ален Дело-он гаварит па французски, Ален Дело-он гаварит па французски, А-лен Делон, А-лен Делон не пьет одэ-а-калон!!!..» А перед ними стоит большой опорожненный флакон французского одеколona «Арамис» и надорванная пачка сахару-песку... А в пятницу Корнет заходит к Ружину, скучает с ним полчаса, безнадежно перебирает «варианты», нет вариантов, ни копейки нет, серьезных кредитодателей нет, сегодня – трезвый вечер, и предлагает сочинить стихи-хит в жанре «мягкого да-

даизма». Причем на пару. – Это как? – Ну, ты строчку – я строчку. Вот, скажем: «Не плюется в потолок, и баклуш не бьется...» Ну? – «Мысли спутаны в клубок, на ресницах – солнце...» – «День в трудах я проводил, залечил мозоли...» – «Целый день не ел, не пил...» – «Тренирую волю...» – «И плоды своих трудов и железной воли...» – «Отправляю я в Тамбов...» – «Иванову. Толе...» – «Толик пишет, что живет со своей вдовой...» – «И справляет Новый год голый, под луною...» – «Только жмут ему носки...» – «Вследствие изжоги...» – «И по праздникам с тоски...» – «Распухают ноги...» – «Бог с ним, с Толей, он глухой, у него гангрена...» – «Толик бывший папа мой...» – «Мой – и Джо Дассена!»...

Мишка был Вторым человеком, а хотел быть Четвертым. Это похвальное стремление. Тем более что позиционировал себя Мишка довольно грамотно. Хотя, конечно, никакое «позиционирование» не превратит вас из Второго человека сразу в Четвертого. Тут нужна не PR-кампания, а долгие труды, ошибки, взлеты, падения, слезы, кровь, стыд, снова труды и дни, несколько раз полное неверие в свои силы, пока начнет что-то получаться...

Игорь Скворцов недавно прислал письмо. Игорь пока в Москве. Он хочет получить ПМЖ в Канаде, и получит, не сегодня – завтра, я уверен в этом так же, как и в том, что Игорь знает английский лучше доброй половины англичан, а уж американцев – точно. Скворцов пишет, что Дол-

лар ушел с биржи, биржи, по словам Доллара, доживают последние дни. Во всяком случае, доморощенные «толчки» называемые «биржами». Теперь нормальные люди будут делать деньги из воздуха уже не на биржах, а в коммерческих банках. И Доллара нельзя винить в незнании законов физики не только потому, что он – дипломированный специалист по болгарскому языку и литературе. Деньги – это просто эквивалент предметов физического мира, вращающихся в государстве под именем товаров, а не сам физический мир. Но деньги нужны даже тогда, когда никто не производит товаров и практически нет никакого государства. Скорее, именно деньги, во всё большем количестве, в такие периоды и нужны. Хотя бы для того, чтобы вообще не разувериться в человеческом общежитии как таковом... Саня Мотоцикл женился на своей венгерке, уехал с ней в Будапешт, благополучно развелся и осел в Австрии. Его немецкий и знание всех имеющихся на 1994 год языков программирования не могли не вывести именно на такой сценарий. Ленька Свист живет с Ольгой в Чехове. Ольга работает в музее. Конечно, Чехова. А Ленька раз в год ездит в Южную Францию на виноград. Если бы не арабы, из-за которых нужно мотаться по медвежьим углам южных провинций Галлии и выискивать хозяев виноградников, которые берут неумелых русских поденщиков, а не алжирцев, только из-за принципиальной любви некоторых французов к некоторому варианту мифологии России, было бы совсем худо: Ленька не мо-

жет работать учителем французского языка по уважительной причине, считает это дело таким ответственным, сложным, что ему, Ленке, с его биографией неудач, лучше за это дело не браться... Мишка Парамонов, Корнет во Франции живет постоянно. Отсутствие – какое там гражданство! – отсутствие даже вида на жительство его немало не беспокоит. Корнет работает библиотекарем в одном православном приходе в Страсбурге. Иногда Корнет, Ленка и Сашка Мотоцикл созваниваются, садятся в автобусы, высокий салон, туалеты сзади, внизу, едут из Лиона, Страсбурга и Вены в Париж, встречаются в кафешке у подножия Монмартра, сидят там с утра до вечера, стараются напиться только к закату... Я сижу в Этом городе и буду сидеть здесь, быть может, до смерти. Я поверил словам Натальи Витальевны, что филолог – ну, в общем, нормальная профессия. Я написал диссертацию... А потом, хоть кто-то из нас должен остаться филологом? Должен! Пусть даже мир обрушится.

– Очкастая опять унитаз засорила! Да сделай ты что-нибудь! Ой, ну ты посмотри, и ещё сапоги в раковине моет! Ну ты что сидишь! Выйди туда! Мужик ты или нет?! Ну, ты представляешь, говорит, кто ты такая, сидишь в своей вонючей лаборатории, и еще я ей, видишь ли, указываю, а потом мыть за нее... – жена всхлипывает и тут же стыдится этого всхлипа. И продолжает говорить быстро-быстро, и каждое слово добавляет ей адреналина, а мне – неверия в разумность этого мира...

Мне очень не хочется вставать и выходить в коридор, воспитывать Очкастую, лучше бы мужик пьяный был, а тут несчастная неадекватная баба... Ну вот, что-то подкатило... Как там, в родной русской прозе? «В висках у него застучало, к лицу кровь прилила»?.. Я выхожу в узкий коридор блока...

– Послушайте, ну нельзя же такие большие куски в унитаз сбрасывать, есть мусоропровод, кто чистить-то будет?

Острый взгляд скользит бритвой, острый взгляд скользит из-под очков, пытается резануть по лицу пока ещё внешне спокойного, пока ещё интеллигентного Андрея Ружина...

– Ты и будешь чистить. Я, что ли?

Почему-то чувствую себя виноватым. Словно оправдываясь:

– Мы с Казаком прошлый раз кое-как трос нашли...

– Ну, ты еще заплачь, ё... – очень тихое, как бы про себя пробурканное, но грубое, похабное, тремя грязными лапками по лицу, тремя... которые, выползши из этих почему-то раньше времени провалившихся в рот губ, словами уже не кажутся, а только лапкой уродца, помеси кошки и горбуна из кошмарных похмельных снов.

Тремя короткими движениями выдернул из брюк ремень. Шаг вперед.левой рукой за волосы, выхватил из узкого закутка с раковиной, сунул между своими коленями в синих джинсах эту головку, уже визжащую, уже как зверь завывала, сейчас заплачет, как дитя... Где? Вот. Раз, два, три. Хватит. Кинул ремень на пол. Словно не мой. Не подниму больше. Он свое дело сделал...

Наблюдаю за собой словно со стороны.

Вот вышел Андрей Ружин из блока преподаского этажа общаги, вот зашел на кухню со старыми, давно пережженными, давно никуда не подключенными плитами, сел на корточки, облокотившись спиной о стену, как бичи-старатели в романе Олега Куваева «Территория» в соленых вечным морозом бараках, закурил, вот вышел через какую-то минуту из своей комнаты Виталька Казак, который совсем не казак, а так – но он себя «так», конечно, не считает, протянул свою маленькую, девичью ладошку, сказал что-то... Вот ушел Казак, докурил Ружин, тоже ушел... Осталась кухня-инвалид одна-одинешенька, поглядывает немытым окном в серые стены домов-коробок напротив, ничего не понимает...



Я написал диссертацию, сходил, без отрыва от производства, в недельный запой: от рюмки водки, сорока граммов, говорил мне один математик, способность к абстрактному мышлению отключается на две недели, а тут – бутылок восемь за шесть дней, литра четыре, не меньше, как я смог в эту неделю провести свои пары по синтаксису, а особенно по этой оторванной от всего сколько-нибудь осязаемого морфологии, – сам не знаю... Я написал диссертацию. Потом отхлестал ремнем Очкастую. А мир не перевернулся. Да ему, похоже, вообще всё равно, ему до нашей мышиной возни дела нет. А нам самим есть до нас самих дело? Ну погрызла меня пару дней совесть, как мышь кусочек половой деревяшки, пропитанной маслом, стекшим с плиты в старой коммуналке. Ну и что?... Дальше-то что?..

Вызвал первый проректор Серенко, повертел в руках какую-то бумагу, спросил, зачем я это сделал? – Что? – сказал я. Он прятал глаза в стол, продолжал что-то бубнить, потом опять спросил, и что вы хотели этим добиться? – Чем? – сказал я. Он не поднимал взгляда и говорил о том, что на сегодняшний день она единственная на кафедре МХК, мировой художественной культуры, у кого есть профильное образование, а где брать еще дипломированных культурологов, никто не знает. – Образование еще не есть признак ума, – процитировал я как-то читаную брошюру Солженицына, а потом меня прорвало: ну это же совершенно неадекватный человек, против такого лома нет другого приема, кроме точно

такого же лома! – Тяжелый человек, согласен, но зачем же руки-то распускать? Она, знайте, написала заявление в милицию и сняла медицинские показания, может быть, не я бы с вами сейчас беседовал, но из Центрального РОВД почему-то пришла бумага с рекомендацией разобраться в этом инциденте в коллективе...

Теперь я отвел взгляд куда-то в окно и задумчиво произнес: вы знаете, как американцы толкуют слово «неадекватный» при помощи синонима? Ну вот, например, мы говорим «верифицировать», а потом, как бы через запятую, толкуем этот термин словом попроще, «проверить», так вот, американцы толкуют слово «неадекватный» при помощи синонима «неудачник»... Я просто пожелал ей удачи, – добавил я. И пошел прочь...

Нет, миру до всего этого дела не было, ему не было дела до горы трупов русских мальчиков на площади Минутка в городе Грозном, этих лопоухих стриженных узкоплечих мальчиков в больших расхлябанных сапогах послали на глупую смерть четыре самодовольных уroda... Впрочем, разве смерть бывает умной?.. Мальчишки прощались с мамами на краю сел с раскисшими еще с августовских дождей глиняными дорогами, ехали в город, на призывной пункт, садились в вагоны, ехали в учебки под Ростовом, над ними издевались сержанты, всего-то на год постарше их: кто не выдерживал еженощных побоев, соглашался ночами воровать для сержантов картошку на кухне и жарить на масле из сво-

их паек, бегать за водкой, а то и за девками, стирать сержантам штаны с гуталином на заднице, ушитые «хэбэ» и «пэша» и страшной вони носки; потом мальчишки, за полгода ни разу не поевшие досыта и ни разу не выспавшиеся, сгонялись на станцию «Ростов-2», 11 декабря 1994-го мальчишки поехали в Чечню, они ехали в провонявших калом и нечистыми телами плацкартных вагонах, приехали, доставали из заворотов шапок-ушанок затвердевшие, как деревяшки, окурки сигарет без фильтра, курили, обжигая губы; потом они строились на сырых дорогах – белый снег с черной грязью пополам возле рядов сырых палаток, – испуганно слушали, мало понимая, боевую задачу, неловко лезли на броню танков и, притихшие, смотрели по сторонам, смотрели вверх в черные провалы окон обугленных остовов бетонных домов, из каждого такого гнилого рта мертвого дома мог вылететь выстрел РПГ и поджечь любой танк, как большой коробок спичек от одной маленькой спички, мальчишек сбрасывало с танков взрывной волной, а потом их тела в грязно-зеленом, нелепом обмундировании прошивали очереди из автоматов и пулеметов...

Если мир 31-го декабря 1994-го не отгонял от трупов тысячи мальчишек костлявых собак, которые сгрызали у черных трупов уши и гениталии, то какое дело было этому миру до какой-то диссертации какого-то Ружина и ремня на полу общежитской коммуналки?

Когда мне будет сорок лет, я напьюсь так, как никогда не напивался, так, что меня едва откачают капельницами с препаратами нового поколения в дорогой наркологии, – потом брошу пить навсегда. Когда мне будет сорок лет, я заведу и тут же брошу любовницу. Когда мне будет сорок лет, я научусь сдерживать эмоции в любых случаях, кроме тех, когда ты, всё время живущий в окружении близких, друзей и просто хороших знакомых, остаешься наедине сам с собой, читаешь «Отче наш», потом ложишься спать, сон не идет, и ты желаешь изощренного унижения, а потом бесславной смерти своим врагам... Когда мне будет сорок лет, я стану говорить афоризмами примерно раз в неделю... Я скажу дальнему родственнику, который попросит у меня взаймы пятьсот долларов: «Увы, одна репутация, и та подмоченная, – это всё, что я успел скопить за сорок лет». Я скажу одному парню, который, прочитав рукопись моей статьи по ключу персональности в художественном тексте, выскажется в том смысле, что в терминах он ничего не смыслит, но вывода так и не усек: «Ты прав, – скажу. – Здесь не хватает резюмирующего абзаца. Но почему же, черт возьми, если ты такой умный, до сих пор работаешь на телевидении?!» Когда мне будет сорок лет, я наконец пойму, что смысл жизни только в вечной смене поколений, «смысл» по-русски – «вместе

с умом», нельзя быть вечно с одной и той же мыслью, быть всегда с одной и той же мыслью — это не «с умом», это — «с мнением», это — сомнение, а не смысл... Нельзя быть долго с одной и той же мыслью, можно — некоторое время, час, тот час, когда ты остаешься наедине сам с собой, читаешь «Отче наш», потом ложишься спать, сон не идет, и ты желаешь изощренного унижения, а потом бесславной смерти своим врагам... Час проходит, ты всё-таки засыпаешь, а наутро просыпаешься с новой, свежей мыслью, ты продолжаешь жить... Каждый новый день — новое поколение твоих мыслей. Каждое новое человеческое поколение — новый день Бога, новая мысль Бога. Ему уж точно нельзя иметь сомнения, только — смысл.

Я пошел к ректору Незванову просить командировку в Красноярск на обсуждение диссертации и представление к защите. Я был счастлив: наконец, впереди замаячило самое важное, самое главное – защита Ружина! Конечно, я не знал, не предполагал – откуда? – впрочем, мне говорили, но пока не испытаешь сам, какая это на самом деле тягомотина, овцу всё ведут и ведут на заклание, уж лучше бы сразу серпом по яй-... – пока не испытаешь сам, – не поверишь, какая это на самом деле мука, унижение, литьё из пустого в порожнее, несколько лет сизифова труда, танталовых мук, триста бочек апельсинов, все гнилые, но ты их перетаскай вон туда, не знаю куда, все до единого, и думаешь, всё, отдыхать? – ни фиги-а! – потом их надо пересортировать, по принципу: самые гнилые в одну кучу, гнилые с левого бока – во вторую кучу, гнилые с правого бока – в третью кучу... а можно вопрос: а где у апельсина-то левая сторона, а где правая, они ведь имеют геометрическую форму шара, относительно меня, конечно, каждый апельсин из этой неподвижной кучи, будет иметь свою левую-правую сторону, относительно кучи совсем другую левую-правую сторону, относительно третьей кучи, куда я буду их складывать, уже третью леву-праву сторону, относительно моей левой руки, если я буду брать их левой, четвертую левую-правую сторону, относительно боч-

ки – пятую, относительно правой моей руки, если я буду брать их правой рукой – шестую, относительно друг друга, сколько их здесь... сто сорок семь, это... самое... – сто сорок семь в квадрате умножить на два... сорок три тысячи двести восемнадцать плюс шесть раз уже было, итак, сорок три тысячи двести двадцать четвертую свою левую-правую сторону, короче, блин, эти апельсины будут иметь: это мне как сортировать, эту вторую кучу – относительно себя самой отмножить сорок три тысячи двести двадцать четыре раза, что ли?.. нет, подождите: там уже есть куча самых гнилых апельсинов... так что делать? – а вот не знаем, но ты же хочешь быть кандидатом наук, а не банщиком... впрочем, они иногда бывают довольно милыми людьми... короче говоря, кандидат наук – ученая степень, а не пупсик из пластмассы, так что – как хочешь, так и крутись!..

Я шел к ректору Незванову и был почти счастлив. Было утро, светило солнце, пели птицы, в гармонию им тут и там подщебётывали сачканувшие с занятий студентки.

Он навалился на стол грузный, неопрятный, серые спутанные волосы шмякнулись на голову, красное лицо в канавах морщин.

А куда командировка?

В Красноярск.

Ты знаешь, сколько самолет до Красноярска стоит?

Билет? Знаю, конечно.

Так почему ж ты пьешь по-черному?!

Что?

Пьяный почему ходишь?

Кто это такое сказал?

Были сигналы!

– Виктор Владимирович, ну вы подумайте, как это можно пить... тем более по-черному, и за четыре месяца написать диссертацию? У меня же сложнейшая тема теоретической лингвистики! Мне кажется, у нас о каждом преподавателе-мужчине ходят... ну версии всякие. Просто потому что нас мало.

– Я тебе не следователь... Ладно. Пиши заявление, всё там пройдешь, бухгалтерию... Подпишу.

– А вот ещё, Виктор Владимирович, в общежитии в нашем блоке комната освободилась, с кафедры МХК там женщина уволилась, нельзя ли рассмотреть наше вселение еще и во вторую комнату: Казаки, конечно, тоже когда-нибудь диссертации напишут, но пока я написал, я быстро защищу!

– Ты защити вначале... Ладно, всё... Мекалов!



Есть такой датский писатель – Питер Хёг, у него в одном романе фраза: «Всегда интересно погрузить европейца в молчание. Для него это пустота, в которой напряжение нарастает, становясь невыносимым». Хорошо сказано... Хотя, конечно, что-то недодумано... Плюс явно неточность в переводе на русский. Наверное, это пустота не для *него*, а для *них*, то есть когда европейцы вдвоем (ведь трудно представить, что в единственном числе европеец, оставшись, допустим, один дома, всё трещит и трещит что-то вслух без умолку, избегая такого невыносимого напряжения молчания).

Если признать за аксиому правильность мысли, что два европейца, находясь рядом, не могут долго не разговаривать, то мы с женой – не европейцы (и впрямь: у обоих в корни закрались экзотические отростки, у Ружина – пермяка, это на Урале, у Ружиной – гурана, не путать с гуроном, гураны – это на Байкале). До женитьбы мы, конечно, разговаривали, причем много, часто, обо всём. Да, наверное, как только надвигалось нечто подобное погружению в молчание, кто-то срывался в разговор, артикулированные вербальные знаки, причем, так, симулякры, ничего не выражающее сотрясение воздуха... пока не находилось темы или лучше события, когда можно было не молчать уже по существу.

Но вот почти сразу после свадьбы стали говорить ред-

ко. И сейчас говорим редко. И нет никакого напряжения от молчания, нет. И так хорошо. Провожая я, допустим, жену на работу – а чего не проводить: пар у меня нет, погода хорошая, осень... Если быть точным: осень в варианте 31 октября не очень тяжелого понедельника 1994 года в Этом городе; асфальт, правда, весь выщерблен, вон дом безглазый, вон строительные кучи долгостроя, ну да это понятно: проклятые девяностые годы России двадцатого века: реформы; разруха на остатках империи, которая умела питаться только собственным телом; «разоружение незаконно вооруженных бандформирований» (а есть *законно вооруженные* бандиты?), сидящее в кавычках, как в темнице; политические войны. Ощущения, что будет завтра, не в переносном смысле, прямом – нет ни у кого. Нет курса. Где он? Вот в чем вопрос. Абстрактных идей, как всегда, хоть отбавляй, а надеяться не на что. Делать нечего в простом утилитарном смысле. И в том же смысле нечего желать. А что может захотеться, когда зарплата у кого – сто тысяч, у кого – двести, у профессоров и водителей троллейбуса – триста, но какая разница, когда вечное материально-духовное мерило русской жизни – бутылка водки, стоит 7 585 рэ? – и это самая дешевая, палёно-фальшивая, да и сие не показатель, а вот когда дешёвенькое, сиротское осеннее пальто пятилетнему сынишке стоит столько, что за него папе сынишки месяц работать – тут задумаешься... И если бы сейчас, когда у меня дома главное богатство – пишущая машинка «Ивица» и коллекция ста ви-

ниловых, таких размеров руль у «Запорожца», пластинок, – подошел бы кто и сказал, что через восемь лет я просто и за- просто куплю с полуторамесячной шабашки (150 страниц текста в свободное от работы время) компьютер с процессором 1700 MHz, и он будет служить мне библиотекой и фонотекой, бесконечным фотоальбомом и маленьким кинотеатром, студией звукозаписи, шахматным партнером и переводчиком с иностранных языков, местом рождения и хранения всех моих лекций, статей, рассказов, повестей, романов, а также аудиокниг и саундспектаклей, что немаловажно – не самой плохой нянькой и воспитателем для моих детей, – сказал бы кто, что до той эпохи всего-то лет семь-восемь... я... может быть, и поверил...

Но никто не подошел. А я в уме сочинил фразу – национальный афоризм. Вот он. «В России виноватых нет»... Конечно, немного спустя бедный Ружин этот афоризм забудет...

А пока мы с женой идем, просто идем. Переговариваемся редко, почти всё время молчим. Для нас это нормально.

Бедный Ружин, странный Ружин... Водки взял себе на ужин!

Выпил. Вытащил соседа, после вкусного обеда, в коридорчик покурить. Сигарет сосед не курит. Водкой голову не дурит. Но – сосед, святое дело. Там поддакнуть, постоять, пусть в душе потом послать. Что? Ты диссер залепил?! Как! Ты ж только водку пил?! Ну, понятно, не запоем. Но ведь – ДИССЕР! Геморроем (мы ж без дам!) ... за много лет можно диссер одолеть. Ну а тут, блин, – за полгода... Неужели же природа не поставила предел, чтобы Ружин не балдел?..

«Жизнь была бы прекрасной и удивительной штукой, если бы... да нет, всё остальное перенести ещё как-то можно, но вот утреннее похмелье!» – думал я, идучи следующим утром на работу. «А пара-то какая тягомотная – семинар по синтаксису сложносочиненного, что там говорить два часа, ну, не два, полтора – по синтаксису сложносочиненного! С союзом „и“ – соединение, „а“ – сопоставление, „но“ – против... О-о-о, блин! Один медик как-то говорил, или я в книжке прочитал: упал мужик-строитель с лесов, подошли, посмотрели, внешне вроде всё цело, царапины какие-то, но мертв; в морге вскрыли, а там! – все косточки – на осколки, органы, даже мышцы – всё разорвано-раздроблено!.. Так вот и здесь. На станции „Большие Бодуны“... Чего это там вчера Казак говорил? Про стуки какие-то, дверями хлопаешь, молотком стучишь, особенно пьяный, причем по ночам, – когда это я стучу по ночам?! И когда это я пьяный?! В такую-то непогоду социально-общественной... нет, тавтология... в общем, в такую хреновую жизнь, где денег-то наберешься на водку? Так, пару раз в месяц... О-о, блин!.. Еще сегодня бегать с бумажками на командировку. Ненавижу бюрократию пуще Маяковского! В смысле Маяковский – фиг с ним, хоть и конкурент по писательскому цеху. Бюрократию – ненн-а-вижжу!!! В неё идут тупые, неадекват-

ные, бесталанные, подлые, низкие, гнусные... Прости, Господи!.. Глупость моя безгранична... У-у-у, как припирает! Какая-то бритва мозги полосает... Не-э-э-а!.. Так, если бумажку подпишу, командировочные сегодня же дадут? М-м-м... Как подпишу?! Незванов-то, говорили, в Комсомольск должен поехать! Без него, козе понятно – ни копейки не дадут. Самайкин говорил: даже вопрос с порошком на ксерокс лично с Незвановым решают, пока не подпишет – ни копейки! У кого занять? У кого занять? У кого занять?»...

Никуда Незванов не уезжал! Нормальный мужик! Коммуняка – да! Тиран – да! Тупой, как угол в сто семьдесят девять градусов? Профессор кислых щей, написавший, вернее, которому написали центнер дерьма по истории КПСС? Хам? Да, да, да! А где вы коммуняк нетиранов, нехамов, да еще и умных – где вы таких коммуняк видели?

Ректор созвал совещание. Далеко за полдень вышел с совещания проректор по науке, как денди лондонский одет, подошел ко мне, взял листок заявления со всеми визами, которые без последней ничего не стоят, пошел, как второй визирь шаха, с моей бумагой, понес ее и себя самого, не забывшего о собственном достоинстве, назад. К Самому!..

Ждать... Ждать иногда приятно. Не просто приятно, а... Ждать – и видеть сны!.. Покой нам только снится! Нет сна приятнее на свете, чем сон о Роме и Жоржете!

Вышли. Хочется сказать: веселою гурьбой. Милые такие, приятные, почти все тупые, в парадигму новых времен

не впишутся, потому что слова такого не знают, но милые мужички в черных костюмах и костюмищах. Впереди, конечно, зам по науке и Незванов... Чего-то долго какие-то посторонние вещи обсуждают. А, вот! Достал из папки, протянул. А, может, не мое заявление? Как не мое?! А чье же тогда? Маяковского?

О! Кажется, сам-то зам по науке забыл подписать, а его-то виза как бы самая главная, дескать, дать, блин, денег соискателю Ружину на командировку в город Красноярск, столицу Красноярского края, в Красноярский государственный университет, поскольку едет-летит соискатель Ружин не просто прокатиться-развезтись под благовидным предлогом, а первый этап защиты проходить – обсуждение на кафедре, – это вам не гвоздика в стакане!.. О, о! Незванов шутит, мол, на спине моей подпиши. А тот, конечно: логичнее будет наоборот, поскольку у меня папка есть, а у вас нет! Подписал. Пером «Паркер», между прочим. Потом шутливо спину стал подставлять. Тот... О, ничего себе, действительно, что ли, сейчас на спине и подпишет?!.. Нет, на папке. На спине было бы слишком шикарно, слишком красиво. В смысле: не к добру. Мне не к добру не надо...

# Глава вторая

## 1

Самолет летит по маршруту Этот город – Красноярск – Санкт-Петербург. Самолет – ИЛ-86. Это хорошо. Это надежный самолет...

Полтора миллиона, выданные в кассе, куда я пробрался через столпотворение жаждущих жалких стипендий студентов («Срочная командировка, господа!»), очень сильно истончились: миллион триста за билеты в два конца – не шутка! Чтобы заработать на эти полеты самому, мне пришлось бы работать шесть с половиной месяцев и ни копейки не тратить. Ах, как прав был человек, который первым заметил, что командировки – это средство путешествовать за государственный счет! И в корне не прав тот, кто заявил, что наука – это средство за государственный счет удовлетворять свое любопытство. Наука и любопытство – вещи несовместные, как гений и жуир. Наука – это печь, обогревающая человеческий ум. Без этой печи он бы замерз. Вот и всё. Это и мало и много одновременно. Мало, потому что никакое развитие ума не сделает человека ни благородным, ни тем более счастливым, может быть, даже наоборот: ведь что-то дало основания царю Соломону выкликнуть: «Во многая муд-



рости много печали»? А много, потому что без интеллекта, ума человек жалок, бессилен, беспомощен, а главное – никому не нужен. Даже больная антилопа, которую хочет съесть не только лев, но и гиена, должна гордиться своей востребованностью, а кому нужно голое костлявое подобие обезьяны, в которое превратится человек, не имеющий ума?.. Но вот сложное органическое существо, единственное предназначение которого – познавать вселенную, выглядит уже довольно привлекательно...

Да, что-то в часы этого полета, в отличие от предыдущего, думается уж слишком патетично и плоско. Просто стыдно так банально-напыщенно думать... Наверное, потому что куда-то девался страх летать на самолете. Без страха смерти ни о чем серьезном лучше не думать – одна ерунда получится...

Лучше почитать.

*«...Инспектор вручил ему корреспонденцию. Остальное положил в мешок и снова завязал его. Врач хотел было взяться за письма, но прежде взглянул на полковника. Потом на инспектора.*

*– Для полковника ничего?*

*Полковника охватила мучительная тревога. Инспектор закинул мешок за плечо, спустился с крыльца и сказал, не поворачивая головы:*

*– Полковнику никто не пишет.*

Вопреки своей привычке полковник не пошел сразу домой. Он пил в портняжной мастерской кофе, пока товарищи Агустина просматривали газеты. И чувствовал себя обманутым. Он предпочел бы остаться здесь до следующей пятницы, лишь бы не являться к жене с пустыми руками. Но вот мастерскую закрыли, и откладывать неизбежное стало больше невозможно.

Жена ожидала его.

– Ничего? – спросила она.

– Ничего, – ответил он.

В следующую пятницу он, как всегда, встречал катер. И как всегда, возвратился домой без письма.

– Мы ждали уже достаточно долго, – сказала в тот вечер жена. – Только ты с твоим воловым терпением можешь пятнадцать лет ждать письма.

Полковник лег в гамак читать газеты.

– Надо дождаться очереди, – сказал он. – Наш номер тысяча восемьсот двадцать три.

– С тех пор как мы ждем, этот номер уже дважды выигрывал в лотерее, – сказала женищина.

Полковник читал, как обычно, все подряд – от первой страницы до последней, включая объявления. Но на этот раз он не мог сосредоточиться: он думал о своей пенсии ветерана...

Девятнадцать лет назад, когда конгресс принял закон, полковник начал процесс, который должен был доказать,

*что этот закон распространяется и на него. Процесс длился восемь лет. Потом понадобилось еще шесть лет, чтобы полковника включили в список ветеранов. И это было последнее письмо, которое он получил...»*

Когда возвращаешься туда, где были какие-то важные и приятные обстоятельства, имеющие значение для твоей жизни, – это особое чувство...

Я останавливаюсь в гостинице, которая здесь же, на верхнем этаже жилого преподавательского дома в университетском городке, и только потом, без куртки, шапки и дорожной сумки спускаюсь к Наталье Витальевне и стучу в ее дверь костяшками пальцев: большое, не чугунное ли? – стилизованное под подкову приспособление для стука на двери, наверное, всё-таки не для таких рафинированных интеллигентов, как Ружин.

Мы идем с Натальей Витальевной по сосновому бору к автобусной остановке, и она рассказывает последнюю новость: до города Красноярска докатилась из Москвы и Питера мода на судебные иски по защите чести и достоинства. Судятся, конечно, разные дядечки с политическими амбициями, а также чиновники, у которых много чего есть, кроме паблсити.

– Меня стали звать экспертом на эти суды, – говорит Наталья Витальевна. – Но это гиблое дело: в наших словарях нет помет «оскорбительное», у Ожегова – самый популярный словарь – нет! Даже слово «мразь», а куда еще оскорбительнее, а Андрей Васильевич? – нету такой пометы!

– Ну какая-то должна быть!

– Разговорное, презрительное – и всё! А законы требуют установить не отношение к разговорному стилю и даже не презрение, а именно оскорбление! Юриспруденция имеет мало общего с жизнью: там главное – форма, формулировки законов, если даже с точки зрения реальной жизни что-то в законах кажется полным абсурдом, закону и юристам на это, в общем-то, наплевать.

– А-а, это как в древней Иудее, по-моему, там законники, фарисеи всякие считались не очень хорошими людьми, формалистами, да?

– Ну да.

Если сказать: интересно устроена жизнь – это будет банальностью, хуже не придумаешь... Но смотря в каком контексте...

Мы на удивление часто повторяем судьбу своих учителей. Не школьных учителей, не тех, кто старается чему-то научить в силу профессии, а тех, кто хочет нам что-то передать, ну... в силу любви, наверное. В том, что Наталья Витальевна – мой любимый учитель, я никогда не сомневался.

Через девять лет бедному Ружину, странному Ружину тоже пришлось быть экспертом суда, ему была заказана лингвистическая экспертиза.

В пятницу 24 января 2003 года газета «Океанская звезда», выходящая в Этом городе, опубликовала статью своего

корреспондента Дмитрия Тюленина. Вот она.

## ***Я ЗНАЮ ТРИ СЛОВА, НЕ МАТЕРНЫХ СЛОВА...***

***За бранным словом в адрес ближнего своего русский человек в карман не полезет. Будь он хоть мусорищик, хоть вице-спикер Государственной думы.***

*Так уж исторически сложилось, оттого, наверное, и хамство давно стало нормой нашей жизни. Многие, между прочим, совершенно серьезно считают достижением русского языка огромное количество в нем ругательных слов и выражений, как нецензурных, так и вполне литературных, но от этого не менее обидных. Насчет достижения можно лишь сказать, что оно очень уж сомнительное, а вот споры филологов, что считать оскорблением, а что неудачной дружеской шуткой, с недавних пор стали предметом судебных баталий.*

*Два года назад в стенах одного из этогородских вузов произошел неприятный инцидент. На заседании кафедры социально-гуманитарных (!) дисциплин, где решались спорные вопросы, вроде распределения нагрузки преподавателей, один доцент в пылу дискуссии назвал другого негодяем, мерзавцем и мразью. Разумеется, в присутствии всей ученой братии, принимавшей участие в заседании, отчего доценту Касаткину (фамилии участников истории изменены), проректору по учебной работе, в то время исполняв-*

шему обязанности директора, в чей адрес прозвучали столь нелицеприятные слова, должно было быть вдвойне обидно. Здравомыслящий, что такие вещи прощать нельзя, пострадавший написал заявление куда следует, и дело по статье 130 ч.1 (унижение чести и достоинства человека в неприличной форме) было направлено в суд Центрального района.

Суд состоялся лишь в декабре прошлого года. Доцент Григорьев не отрицал, что назвал коллегу именно теми оскорбительными словами, но, по его версии, слова эти оскорбительными не являются, поскольку все они цензурные и есть в словаре русского языка. Содержат они в себе выразительную оценку чего- или кого-либо, и назвать так кого-то – значит просто высказать мнение, что он человек низких нравственных качеств. Объективно и в рамках приличий. Никто никого не оскорблял, а, значит, и состава преступления нет.

Являются ли упомянутые литературные слова оскорблением в неприличной форме или нет, пришлось выяснять с помощью специально приглашенного эксперта-лингвиста. Им стал журналист Андрей Ружин.

– Термины «оскорбление» и «нецензурная брань», которые содержатся в описаниях статьи 130 УК, современные юриспруденция и лингвистика считают недостаточно ясными, – говорит Андрей. – Для толкования в этом случае используется термин «инвективная лексика». К ней относятся слова и выражения, употребление которых в обще-

нии нарушает нормы общественной морали. И это могут быть как нецензурные слова, жаргонизмы, так и вполне литературные выражения. В кодифицирующем словаре русского языка Академии наук слово «мерзавец» однозначно помечено как бранное слово, а «негодяй» и «мразь» ему синонимичны.

Суд с мнением лингвиста согласился и все-таки счел выражения, произнесенные Григорьевым в пылу околонучной полемики, оскорбительными. Ответчика приговорили к штрафу в 100 минимальных размеров оплаты труда, что сейчас составляет 10 тыс. рублей...

Что и говорить, богат смысловыми оттенками русский язык. Скажет человек в сердцах бранное слово в адрес другого, а потом выяснится, что не оскорбить он вовсе хотел, а чуть ли даже не глаза ему открыть на некоторые его недостатки. А его не так поняли. И ищите потом юристы с лингвистами истину.

Этот случай пока, во всяком случае, для нашего города, достаточно уникальный. Но печально вот что. Мы уже, к сожалению, привыкли, что с экранов телевизоров политики, подчас с учеными степенями, честят друг друга так, что уши сворачиваются в трубочку. Но высшая школа считалась последним оплотом интеллигентности. Сейчас, похоже, рушится и он. Согласитесь, видеть, как один ученый муж прилюдно поливает площадной бранью другого, довольно дико. И инвективная это лексика или неинвективная —



*это уже дело десятое...*

А в начале ноября 1994 года мы идем с Натальей Витальевной по сосновому бору к автобусной остановке, и я говорю, что с сентября начал читать спецкурс по семантическому синтаксису, и пользуюсь почти исключительно теми книгами, которые она подписала и подарила мне в прошлый приезд.

– Если честно, – говорю, – я просто пересказываю всё, что вы написали... и даже.. как бы... ну, в общем, пытаюсь систематизировать этапы ваших исследований.

– Ах, Андрей Васильевич! – улыбается Наталья Витальевна, – Я начинаю привыкать к тому, что мои аспиранты третьего года и соискатели второго совмещают свои защиты с практическим верескововедением! Юлия Васильевна из Читы занимается тем же самым... Оставьте! Ошибайтесь, мучайтесь, но читайте на спецкурсах то, что придумали сами – верескововедение подождет!

– Ну, как съездил? – спрашивает Казак.

Если бы я был старше и мудрей, я увидел бы, что в его глазах читается ожидание провала.

Чуть не захлебываясь, я начинаю рассказывать, как всё было классно, как меня снова в кайф принимали на кафедре, как, впрочем, все погрузились в некую строгость во время самого обсуждения.

– Там есть такой доцент – Дедков, такой, знаешь, типичный поп без рясы, борода веником, башка – энциклопедия, и всё такое, я еще доклад читаю, а он почти кричит: «А у вас тут фраза по поводу примера „звезды показывают“: „Автор отдает инициативу субъекту высказывания“, – так ведь здесь не субъект, а псевдосубъект!» Представляешь, орет! Орет на всю кафедру! Хорошо, Вересковой палец в рот не клади, она моментально его успокоила...

Наконец, я замечаю, что Казаку это вовсе не интересно. К тому же мы подошли к институту. Ему на кафедру литературы, мне – в другую сторону.

– ...Это тебе тоже от Коли, – говорит Скупой, но видит, как сурово я реагирую, как ничему не верю, и понимает, что немного переиграл. – Ну честно, ёлы-палы! Помнишь, Лешка Мазановский всё прикалывал Николая, когда он там «Командирские» часы на Воробьевых горах иностранцам торговал, помнишь? Потом прикалывал, когда они первую фирму сбацали, слушай, это же они еще на четвертом курсе, да? Чего они там еще делали?

– Купили деревянные ручки под хохлому, выковыривали советские стержни, вставляли немецкие и продавали тем же немцам оптом. Типа партии сувениров.

– Ну, да... Да и я, грешен, не верил, что у Коли какой-нибудь хоть маломальский проект получится. А ты?

– А что я?

– Что забыл?

– Забыл.

– А ты как-то – ба-а-льшая пьянка была, помнишь, люди с Хамовников были, типа «серьезные», помнишь? Ты сказал при всех, что веришь в Колю. Коля единственный среди нас станет богатым человеком.

– Ну, начинаю вспоминать.

– А Коля это оч-чень хорошо запомнил... Я мог бы тебе еще напомнить пару случаев, когда ты сказал, что Коля –

единственный среди нас, кто станет Крезом через год-другой, ну-у, сам Николай лучше помнит, ты его спроси... Они там, знаешь, все долбанутые на всяких приметах, он думает, что ты – вроде талисмана, который помог ему раскрутиться. Ну всё, подними деньги. Это Коля тебе передал, Коля! За то, что ты в него верил...

Я взял со стола две тысячи в купюрах с портретом человека в кепке. Это были приличные деньги. Авиабилет от Атагуля до Москвы стоил одну кепку, сотню...

Меня тоже можно терпеть только довольно ограниченное время. Миллиграммов триста, максимум четыреста. В принципе это вписывалось в бутылку коньяка на двоих, но Сережа Скупой знал, что мне нужна будет вторая серия, а уж потом класть меня спать и ни в коем случае не выпускать на улицу, если не хочешь потом икать его полночи и выпутывать из всяких передраг.

После «Камю» он поставил на стол тонкую бутылку «Белого аиста», надо полагать, настоящего молдавского, а не фальшивого смоленского, поскольку Сережа не просто был родом из Кишинева, но частенько туда наведывался – к маме, папе, с которым продолжал дружить, несмотря на то, что тот давно бросил маму и женился на ровеснице Сергея, и еще к десятку родственников, которые у русских из нацреспублик более родственники, чем у российских русских... Счастливое плавание в теплых водах, под мерный скрип такелажа, закат во весь горизонт и зрелище дель-

финов, веселым эскортом сопровождающих яхту, продолжалось... А что? В комнате Сергея – бело-голубые обои, фиолетово-красный ковер на полу, вишневый парус штор на большом окне, сам Сергей, в белых брюках, джинсовом кителе и с ровненько подстриженной бородкой, – чем не кэп? А в углу еще тихонько урчит магнитофон, и Род Стюард, почти стюард, шершавым, не от соленых ли ветров? – голосом поет: «I am sailor...» Итак, мы пьем коньяк...

– Но я бы не сказал, что ты накликал Николаю счастливую судьбу.

– Что? Ты о чем?

– Капитализм вообще тяжелая штука. В нем свободы даже меньше, чем при социализме.

– ?!

– Ну вот смотри, опять же на примере Николая. Помнишь, у него у первого среди нас появился классный катушечный магнитофон.

– Ну.

– Потом ему потребовался не менее классный кассетный, потому что бобины люди его уровня уже не слушали, а скоро и никто такими пользоваться не будет, так?

– Ну и?

– Ну и полетел Коля в Сингапур. Времени – мало, в обрез. Они же не члены ЦК КПСС, им за границей дела делать надо, а не финики околачивать, плюс всё дорого и каждый сингапурский цент на счету. Осталось у Коли каких-то пол-

тора часа до самолета. Пошел он на местный базарчик, чтобы купить себе даже не кассетник, а вообще плеер для компакт-дисков, знаешь такие штуки?

– Ну ты что вообще за лоха меня принимаешь?!

– Ладно, ладно... Зашел он в лавку к торговцу – видит, куча таких плееров, один другого лучше. Ну вроде бы, вот свобода, да? Во всяком случае, свобода выбора. Но стоит каждый такой плеер, Колю уже не обманешь, он сам коммерсант, сам тертый калач – в три раза дороже того, за что можно продать, плюс двадцать процентов на налоги, плюс тридцать процентов местным ментам и бандитам, ну и для ровного счета еще червонец. Стал Коля цену сбивать. Торговались до посинения. Наконец, уже надо ноги в руки брать и бежать на самолет, Коля чуть ли не до самой нормальной цены все накрутки сбил. Всё? Победа?.. Как бы не так!.. Уже завернул ему торговец плеер и в сумку положил, а потом глазенки спрятал и говорит: «А наушники брать будете?»... Там же у этой сингапурской техники разъемы только родные сингапурские подходят, только в этой лавке и надо покупать, а без наушников плеер, как известно – просто железка с пластмассой... Пришлось всё-таки Коле платить не сто долларов, а все двести, как хозяин с самого начала хотел, а не Коля. Вот тебе и свобода!

– Нет, ну в принципе притча понятная, при всей свободе выбора, выбора нет. Ладно, черт с ним, у капитализма свои прибаамбасы – доживем, увидим, по всему видать – немного

осталось. Но ты мне скажи, почему я накликал Коле несчастье?

– Ты не понял! Ничего ты не кликал. Просто не такая уж и счастливая у Коли жизнь... Короче, так. Сейчас в принципе Коля – хозяин почти всего дела. Но он неосторожно когда-то взял в долю одного фраера, которого знал еще до юрфака – ну там, в армии вместе служили, что ли. И этот чувак всю малину Коле портит уже второй год. Ни развернуться, ни свернуться – ну ничего, понимаешь... Связал по рукам и ногам, ничего не делает, просаживает деньги в каких-то авантюрах, нюхает марафет и всё такое, и от него не отвязеешься, потому что по документам, ну так получилось, так для чего-то нужно было, – он чуть ли не собственник. Ну, как в свое время, помнишь, немецкая олигархия попросила Шикльгрубера поработать политической Петрушкой, чтоб потом взять власть и его убрать, а он взял и власть и всех магнатов охапкой в левый карман. Понял расклад?.. Давай его на пару замочим? – внезапно говорит Сергей...

– Что?

– Что слышал. Человечишко – тьфу, совсем никудышный, а тут... ну, по меньшей мере, сделаем себе по однокомнатной квартире в Москве, скорее всего, еще и по машине... Ну, как?..

Короткие зимние каникулы. Только что, как-то серо, встречен Новый Год. Мы с Лешкой Китовым играем в шахматы. Мы любим играть друг с другом в шахматы. Потому что общий счет партий у нас всегда равный. Наверное, при игре в шахматы у нас с ним включается закон сохранения определенной энергии: как только эта энергия превышает допустимую величину у одного, она иссякает и повышается точно такая же энергия у другого. Это забавно и почему-то не надоедает.

– Слушай, – а что такое «модус»? – говорит Алексей.

– Понимаешь, факты есть только там, где нет людей. Как только появляется человек, факты, в лингвистике они называются «диктум», не исчезают совсем, но обрастают массой интерпретаций, обрастают, а потом с этими интерпретациями и сливаются. Это слияние действительных фактов и человеческих интерпретаций в лингвистике называется «модус». Иногда в таком процессе от фактов остаются одни интерпретации – вот что интересно!

– Ты, кажется, зевнул ладью. Это факт!

– Вот, если бы сказал без «кажется», это было бы фактом. Слово «кажется» – модусное, – это показатель неуверенности в достоверности сообщаемого... Кстати, тебе шах! А через пару ходов – мат... Как мне кажется...



## 6

Самая большая проблема человечества – это то, что каждый человек хочет, чтобы весь мир жил по его собственному представлению. Во всяком случае, не желает примириться с тем, что любой другой желает того же самого. Кто-то сказал: полное единодушие бывает только на кладбище...

Сегодня пятница, 5 ноября. Я вылетел в Красноярск 1-го, прилетел назад вчера, 4-го. Сегодня – пятое, перед тремя выходными – суббота, а потом 7 и 8 ноября, дни октябрьского переворота, отбросившего огромную страну на 70 лет назад, по старинке в эти дни еще что-то празднуется под каким-то благовидным предлогом, 7 ноября уже не День Великой Октябрьской социалистической революции, а День согласия и примирения, кажется, хотя для большинства – это не более чем лишний повод покрепче выпить и, кому это еще интересно, поинтереснее, чем обычно, потоптать жену или подругу.

Несмотря на вторую смену, мы заканчиваем рано – пары сокращенные, не по девяносто, а по шестьдесят минут, свободные преподаватели подтягиваются к окончанию третьей: еще неделю назад решили под праздники собрать кафедру, поставить «галочки» по всяким дурацким текущим вопросам типа контроля выполнения преподавателями кафедры своей учебной нагрузки за прошедшие два месяца, соответствия этого выполнения утвержденным рабочим планам, потом – заслушать преподавателя Ружина и старшего преподавателя Селезневу по вопросу их работы над диссертациями и соискательства, самое интересное в конце – «разное».

Перед кафедрой меня заводит в деканат Лора... У нее острый нос, длиннющая спина и массивный низкий зад типичной еврейки, вечная прическа под шиньон шестидесятых и очки под шестидесятые годы – узко-старомодные. У Лоры три имени – Лора Ивановна, Екатерина Ивановна и просто Лора. Почему так, я не знаю, я не очень-то силен в факультетской мифологии. Но очевидно, что Лора непролазно застряла в «эпохе развитого социализма»: по-другому она не умеет жить. Так же, как и ректор Незванов, проректор Серенко, старички с кафедры истории Отечества (бывшая истории КПСС), старушки с кафедры педагогики и почему-то женщины с кафедр точных наук. Лингвистика, между прочим, тоже точная наука, стало быть, кафедра русского языка – кафедра хоть и гуманитарной, но процентов на 90 науки точной... Лора кандидат, но странных наук – педагогических...

Лора заводит меня в деканат и берет быка за рога: «Андрей Васильевич, Степан Николаевич устал! Он уже четыре года этим занимается, вы вот написали свою диссертацию, а ему тоже нужно, вы думаете, он не талантлив, еще как талантлив, иначе мы бы не оставили его на кафедре...». Лора говорит быстро-быстро и немало не смущается тем, что я ничего не понимаю: она из тех людей, кто думает, что все окружающие просто обязаны быть в контексте их дел и тревог. После фразы: «Когда вы сможете его заменить? Мне ведь надо ввести вас в курс дела, да и вам нужно притереться ко

мне, к распоряжку деканата, прежде чем станете заниматься основным – контролем над общежитием...», – после этой фразы, точнее, тирады я начинаю догадываться, о чем идет речь...

Весной мы со Степкой стояли на крыльце факультета. Я попытался занять у него тысяч двадцать: время шестнадцать часов, но мое похмелье только стало переходить из острой в тупую ноющую фазу. Степка отвернул свое грубым топором вырубленное лицо куда-то в сторону Центральной улицы и с жесткой полуулыбкой стал говорить, что он начинает уставать от моих просьб и что они, в общем-то, неуместны. Если я думаю, что он, Степка, мой друг, то я жестоко ошибаюсь, и если я думаю, что стал за три года своим человеком на кафедре, то я тоже жестоко ошибаюсь. То, что ты, Ружин, так легко и счастливо порхал по жизни, учился в МГУ, и всё такое прочее, это ничего не значит, и знал бы ты, какая здесь была дедовщина еще пять лет назад, при Гомошенкиной, как все молились на слово «грамматика», и как молодые препода, отпахав свои три пары, безропотно шли вместе со студентами слушать лекции той же Гомошенкиной, которая пересказывала слово в слово свою брошюру, пять лет назад выпущенную Всесоюзным заочным институтом, или слушать лекции Кудряшовой, которая писала свой курс морфологии пятнадцать лет и поэтому его должны знать все, и как разносила, хуже чем студенток, та же Гомошенкина молодых преподаш за малейшую ошибку, когда посещала их занятия,

а когда ошибок не было, всё равно разносила, какие крутые разборки были с покойным Стадницким, и как ему сказали, что, несмотря на степень кандидата, пока не поползает с год на коленях, звание доцента не получит, когда он, защитившись, снова стал попивать и когда приходил на первую пару, от него попахивало, а пить можно было только тем, кому это негласно разрешит сам Незванов, а уж совсем можно только тому, кто выпьет хотя бы раз с самим Незвановым, он пьющий человек, да, иногда оч-чень пьющий, но ему можно, он ректор, он всё прошел, от секретаря комсомола Комсомольского педа до ректора Этогородского... Ты что, не понимаешь, что ты всё время против шерсти, против всех, против Этогородской школы?

Мне хватило выдержки улыбнуться и сказать: этот ма-разм ты называешь школой, Бог с тобой, Степа, очнись... Но в глубине себя я стоял ошарашенный, забыв о похмелье, ничего такого, что он сказал, а ему почему-то сразу можно было поверить, я даже не подозревал, несмотря на то, что давно уже думал: у меня аналитический склад ума...

Степка продолжал. А то, как я ездил один столько лет со студентами на картошку, пока все колхозы не развалились, ты знаешь? Как мне пятикурсники своими издевками всю плешь проедали, а первокурсниц я от местных дебилов с участковым, а то и без него, каждый вечер отбивал? А потом еще у меня с копеечной зарплаты с октября до Нового года чего-то вычитали непонятно за что? А то, что я уже

четыре года работаю замдекана по воспитательной, и тебе давно пора меня подменить, ты не понимаешь, тебе открытым текстом это надо сказать? А что такое замдекана по воспитательной? Это работа в общежитии за три рубля доплаты. Если кто-то первый раз зайдет в нашу первую общагу в десять часов вечера и увидит пьяную студентку верхом на пьяном студенте, которые со скучающим видом наблюдают за пьяной поножовщиной, наверняка потеряет веру в человечество. Полностью и навсегда.

Я начинаю приходить в себя...

Не знаю, Степан, может, ты и прав. Только я не меньше твоего поездил по колхозам, причем в Атагульском уезде. Ты знаешь, что такое Атагульские колхозы? Там местные не дебилы, там народец, которому по фигу, какой век сегодня на дворе, там пединститутский ПАЗик встречает отряд хазарской конницы, сотня провонявших луком чжурчженей на высоких рыжих жеребцах, эти за исключением местного диалекта знают только русский мат, в чем и заключается всё их образование и культура с этикетом. И каждый вечер в час назначенный с камчами в руках и ножиками за голенищами сапог они приходят в лагерь, и ты не знаешь, доживешь ли до утра, ты, или молодой и пока еще честный мент, начальник которого, подполковник на синей «Ниве», и сам не прочь побаловаться белой девчонкой, которая учится на учительницу... А то, что ты называешь школой, это не школа, а полный маразм, причем провинциальный, тупой

и гнилой, как запущенный пульпит. А быть замдекана, пусть даже по воспитательной, тебе просто нравится, во всяком случае, нравилось, я, что, не видел с какой физией ты сидишь в деканате, это твоя компенсация за ту чушь, которую ты плетешь на парах... И подавись ты своей двадцаткой...

А кафедра долго не начиналась, обычно мы проводили ее в первой аудитории, вторая – это сама кафедра русского языка, пенал в два шага в ширину и четыре в длину, здесь стол для завкафедрой, стол для лаборанта и шкаф для никому не нужных карточек, собранных за тридцать лет диалектологических экспедициями из первокурсников во главе с молодыми преподами в селах за тридцать – пятьдесят километров от Этого города, где самые старые старушки-старики говорят на койне из несочетаемой смеси северных и южных русских говоров и тунгусских, гиляцких и прочих местных диалектов, еще лет пять проговорят, а потом в этих селах, так же, как и по всей стране, станут говорить просто на плохом русском, – собрание кафедры в прикрепленной за кафедрой первой аудитории всё не начиналось, потому что во второй аудитории, то есть на самой кафедре, долго о чем-то шушукались завкафедрой Деревенькина, Лора и маленькая доцент Кудряшова, у которой выпали почти все волосы и, несмотря на все ухищрения начесов-зачесов, человеку в метр шестьдесят пять роста и выше, у самой Кудряшовой едва ли метр шестьдесят, была видна почти настоящая лыси-

на, почему-то не вызывающая такого ужаса, когда принадлежит мужчине под шестьдесят лет, какую вызывает такая же лысина, принадлежа женщине такого же возраста.

Я как обычно сидел на крайне правой, у окна студенческой парте. Селезнева с несчастным лицом матери-одиночки без кандидатской степени и без особых женских талантов – на последней, крайней левой; посередине сидела и как всегда что-то читала – диплом студента, доклад или диссертацию коллеги, – умница Великанова, которую, кажется, уже перекупили зарплатой, больше похожей на человеческую, кадровики-селекционеры из недавно открывшейся в Этом городе, как и по всей стране, академии государственной службы, бывшей партшколы, – рядом с Великановой обычно сидел Стадницкий с расслабленным видом, протирая очки, ждал момента, когда можно выскочить из засады и реализовать по какому-нибудь более-менее предметному поводу свою страсть к нонконформизму, ну, например, возмутиться термином старушки-синтаксистки Синяковой «сложное синтаксическое целое», сказать, что уже лет десять этот термин ни один приличный лингвист не употребляет, говорят: «сверхфразовое единство», – при этом Великанова бы подумала, что, да, конечно, Синякова остановилась на Востокове и Пешковском с Буслаевым, ну, да кто ж от неё когда-то требовал чего-нибудь иного, зато она вполне душевный человек, – сам Стадницкий, конечно, пожалел бы, что не запомнил ни одной подобающей цитаты из недавно прочитан-



ной книги Солганика «Синтаксическая стилистика», а я бы судорожно вспоминал, что еще студентом я читал у Данеша про тема-рематические прогрессии, потому что, безусловно, прогрессии Данеша, а не «сверхфразовые единства» – последнее слово в науке, но, увы, я еще не дорос ни чином, ни педстажем до того, чтобы, зевнув в сторону окна, ставить всех на место, – но Стадницкого нет, он еще весной умер, на руках у меня и Великановой, приехал в институт из своего краснореченского далека, позвонил кому-то с вахты и откинулся на стуле с широко открытым ртом и закрытыми глазами – инсульт... Великанова держала эту мертвую голову двумя руками, прижимала к доброй груди и гладила, словно голову маленького ребенка, а я судорожно крутил диск телефона и сначала попал не в «Скорую помощь», а в милицию... Зашел Степан, окинул взглядом аудиторию и сказал: «Корифеев нет, пока одни молодые», – при этом незащищенная Селезнева, лет на пять-семь старше кандидата и доцента Великановой, конечно, произвольно заерзала на узкой лавке...

Наконец, зашли Деревенькина, Лора и Кудряшова, у последней была манера громко читать всю кафедру какой-нибудь журнал, то есть демонстративно шелестеть страницами, ожидая, когда к ней обратятся за решающим словом, к которому, во всяком случае, на моей памяти, никто никогда не обращался...

Деревенькина на безупречном канцелярите пересказала

всю ту ерунду, которую слышала на последнем вузовском совете, все дружно покивали головами и обещали навести порядок в текущих отчетах о выполнении нагрузки и не задерживать со сдачей ведомостей о зачетах и экзаменах, когда таковые начнутся.

Потом Деревенькина уступила место за преподаским столом Селезневой, и я впервые услышал тему ее диссертации – «Стилистические особенности передовиц газеты «Правда», причем по виду Селезневой вполне можно было определить, что это не прикол. Бедная Селезнева мученически поведала о том, что она успела сделать за последние годы, и стало понятно, что она не сделала еще ничего. Это никому не нужно было в эпоху развитого социализма, при нынешнем бардаке – тем более. Самой Селезневой, сорокалетней женщине с дочерью-старшеклассницей, без мужа и особых женских талантов, нужен был только диплом о том, что она обладает степенью кандидата филологических наук, это окрашивало ее жизнь хоть в какой-то цвет, кроме всегдашнего серого, к тому же почти в два раза увеличивало преподавательское жалованье. Каждый из нас, сидящих на собрании кафедры, дал бы ей этот диплом сию минуту, хотя бы за ее грустные глаза, но на самом деле давать, конечно, было не за что, не за тот же маленький пассаж, который она только что вяло, безнадежно, с улыбкой каторжницы, произнесла: «В текстах передовиц газеты «Правда» встречается не более девяти метафор, между прочим, это любопытно сочетается с наблю-

дениями психологов, которые считают, что одним взглядом человек может охватить не более девяти предметов, и запомнить не более девяти»... И какие психологи ей это сказали? Я помню цифры – от четырех до шести. И всё же – ну почему бы не дать беззащитной Селезневой степень? Но мы – не Высшая аттестационная комиссия, мы – обычная кафедра заштатного провинциального института, мы не можем дать Селезневой диплом кандидата наук за ее грустные глаза, мы можем только прятать собственные глаза и не позволять вырываться наружу стыду за чужую беспомощность...

Я люблю выступать, сейчас, в девяносто четвертом, мне только тридцать лет, я ещё не напился вволю того восхитительного ощущения, которое может дать индивидууму сидящая перед ним публика. Пусть даже эта публика состоит всего из пяти, не совсем, скажем так, близких тебе по духу человек. Я говорю этой публике о субъективных смыслах высказывания, о модусе, о персуазивности и авторизации, о приемах автора и телеологических реакциях адресата, Ружина несет, он не замечает, что никто ровным счетом ничего не понимает...

Наконец, Кудряшова довольно бесцеремонно меня обрывает: «А скажите, Андрей Васильевич, сколько вы пробыли в Красноярском университете в эту командировку? – Ну, я прилетел первого, улетел четвертого... – День приезда и отъезда не считаем, это что, вам хватило два дня, чтобы обсудиться там на кафедре?»

Ружин еще верит в людей и не понимает скрытых смыслов таких вопросов: «Да, конечно».

«Странно», – говорит Кудряшова и снова упирается взглядом в свой журнал. Мне видны улыбающиеся глаза Степана под красным лбом, раздвоенным большими выпуклостями. Эта улыбка явно не хорошая интерпретация ситуации. Но где подвох? Я его не вижу!

«А скажите, Андрей Васильевич, мы еще вас об этом не спрашивали, как вы считаете, вы хороший преподаватель?» – Лора сидит, сильно наклонившись на бок, упершись локтем на столешницу, щека на ладони. Лора почти лежит на студенческой парте.

Я глупо улыбаюсь. «Ну, дак это лучше спросить у студентов».

«Будут еще вопросы к Андрею Васильевичу?» – спрашивает Деревенькина и почему-то прячет глаза.

«Я бы хотела проинформировать кафедру, – говорит Лора, – о разговоре, который у нас состоялся перед собранием, потому что сам Андрей Васильевич, как я понимаю, не хочет о нем рассказывать, правильно я понимаю?»

Я не успеваю никак отреагировать, я стою сбоку от председательствующего стола, от сидящей Деревенькиной, я не предвижу ничего хорошего.

Декан говорит о том, что дальше так продолжаться не может, нельзя выстраивать свое благополучие на том, что так неравномерно распределяются обязанности между препода-

вателями на факультете. Андрей Васильевич лучше возьмет лишние полставки и больше, чтобы подзаработать, чем будет выполнять общественную работу, при этом, когда у него по семь-восемь групп, как он может строго относиться к своим студентам, у него даже безнадёжные студенты всегда получают «четверки» и «пятерки»; а для нас сейчас узким местом является работа по воспитанию студентов, я предложила ему возглавить это направление, я сказала ему, что Степан Николаевич тоже занят исследованием, ему тоже нужно работать над диссертацией, и быть замдекана по воспитательной для Степана Николаевича уже непомерная дополнительная нагрузка. И знаете, что ответил мне Андрей Васильевич, когда я предложила ему заменить Степана Николаевича на должности замдекана по воспитательной? Он даже не удосужился придумать какой-нибудь приличный повод отказа. Он не сослался на плохое здоровье или что-то еще. Он открытым текстом сказал мне: «Не хочу, и всё!» Его хотения и нехотения, получается, главная причина. У нас так, Андрей Васильевич, не принято. Мы не знаем, кто такая Верескова, потому что мы – пединститут! Нам не нужно затуманивать своим студентам головы семантическими синтаксисами, нам нужно, чтобы студенты были грамотными, и, придя в школу учителями, могли учить детей грамотности, и всё! Это для нас не заслуга, что вы продолжаете какие-то абстрактные изыскания, можно сказать, изыски чужих профессоров, вот если бы вы работали в Красноярском универ-

ситете, было бы другое дело, но вы работаете у нас, и будьте добры считаться с правилами, которые у нас существуют... Ну вот что вы молчите?.. Так, конечно, очень просто отмолчаться, дескать, ну плетите, плетите тут, что хотите, а я буду делать только то, что хочу, и не делать, что не хочу, такая ваша позиция, да? Захотел – избил ремнем преподавательницу, и даже не повiniлся...

– Отчего же, – говорю. – Каюсь. Я перепутал объекты. На ее месте должна была быть другая. Вы, Лора Ивановна.

Он навалился на стол грузный, неопрятный, серые спутанные волосы шмякнулись на голову, красное лицо в канавах морщин. Он не меняется, когда сидит за ректорским столом. Никто за такими широкими столами не меняется. Все в образе. В каком именно – вот в чем вопрос.

– Виктор Владимирович, я прошел предзащиту, защита – в апреле, в прошлый раз вы обещали подумать начет второй комнаты в общежитии.

– Я тебе ничего не обещал! А вот ты мне обещал не пить! Ты что там учудил неделю назад? Приперся на кафедру пьяный, обматерил Лору, и еще, наглец, смеет ко мне являться и требовать комнату! Может, тебе еще квартиру в новом доме за твои пьянки?

В такие моменты, а у кого их не бывало, кровь так резко приливает к голове, что голова опускается на грудь. Но нельзя давать повода думать, что ты сдался после одного удара. Даже такого неожиданного.

– Еще три года назад, когда я устраивался, мне говорили, что вы – хам. Но чтобы такой хамище? – не ожидал.

– Что?! Мекалов!

– Я подам на вас в суд. Или напишу в газету. И, между прочим, в ситуации официального общения, даже кризисной, нормальные люди обращаются на «вы». Так вот, вы –

хам, Виктор Владимирович, причем бывают хамы более-менее талантливые, вы – просто хам.

– Мекалов! – несется громом вслед.

В приемной сталкиваюсь с Мекаловым, из тех, чья официальная должность никогда не совпадает с реальными обязанностями.



Доцент Самайкин – историк, по имени Игнат, по отчеству так же, как и я – Васильевич, тоже живет в студенческом общежитии (преподавательского в этом пединституте нет). Живет с женой, похожей на цыганку – когда она поступала на заочное отделение истфака, я по наглой просьбе Самайкина поставил ей «отлично», хотя она и «тройки» по русскому не заслуживала, – так мы с Игнатом Васильевичем и познакомились. У них две прелестных дочурки. Иногда все девятиэтажное студенческо-преподавательское (а еще целый этаж – гостиница) общежитие видят умильную картинку: большой дядька, на вид лет сорок пять, сидит на пригорке возле общежития на маленьком складном стульчике, а возле него играют две девчонки – обе маленькие, одной лет пять, другой года четыре, как заиграются, забегут подальше или поблизости машина проедет, большой и будто бы сонный дядька вскакивает, делает большие глаза, размахивает руками – ну, воспитывает, в общем...

У Самайкина и его цыганки настоящая квартирка на первом, техническом, этаже общежития, где типография, бельевые, кладовые, мастерские всякие. Квартиркой, правда, эту жилплощадь можно назвать весьма условно: только из-за наличия стакана туалетки и кухоньки без окон, – еще здесь почему-то очень низкий потолок. А так – зальчик неопиcуе-

мо косо́й геометрии, куда, кроме телевизора на тумбочке, вошли только диван и стол-книжка, который, собственно, из-за косо́й геометрии комнаты практически некуда раскладывать; есть еще спальенка размером с закуток для хоккеистов, удаленных на две минуты. Впрочем, многие преподаватели и таким апартаментам были бы куда как рады. Самайкин всем говорит, что они живут хуже детей подземелья. Особо напирает на грибок на потолке (я там никакого грибка не видел) и якобы крыс, вылезающих из глубин унитаза в самый населенный момент. Говорят, Самайкин, как только защитился – а защитился он по педагогике, другого совета в Этогородском пединституте нет, причем защитился лет в сорок, так вот, как только Самайкин защитился, он развил такую бурную революционную деятельность – Ленин, Каменев, Зиновьев и Компания отдыхают, – чтобы заполучить именно эту квартирку. А раньше жил, как и все, в обычной комнате в коммунальном блоке...

Цыганки и детей дома нет. Мы с Самайкиным сидим на диване в кособоком зальчике, и он в который раз перечитывает номер газеты «Этогородская правда» со статьей некоего Андрея Ружина, которая называется «В суд на ректора Незванова». В статье говорится, что ректор Незванов – не очень хороший человек. Грубиян, мало того – хам. Приводится пара примеров, как он оскорблял женщин-преподавателей не совсем девичьего возраста. Далее говорится, что упомянутый господин Незванов управляет пединститу-

том методом деспотии и тиранства: дать или не дать научную командировку кому-либо зависит не от важности сей командировки, и уж вовсе не от проректора по науке, а от того, насколько предан претендент на командировку господину Незванову. И даже порошок для ксерокса прикупить – беги к Незванову и челом бей. Совет института – чисто формальный орган: как Незванов скажет, так всё и будет. После упоминается роскошная дача в два этажа в «генеральском поселке» на Красной Речке, невесть как выросшая в одночасье в наше нищенское время, да, на немаленькую, но явно не способную быть подобной инвестицией ректорскую зарплату. В довершение рассказано о том, как проходило давеча профсоюзное собрание института, и Незванов позволил себе следующий выпад в адрес, в общем-то, маленького, но человечка Андрея Ружина: «Мы должны намного строже подходить к подбору кадров, а то вот приняли Ружина, а он мало того, что пока не вырос в настоящего преподавателя, а уже обнаглел до того, что пьет на работе и при этом требует себе квартиру». Последним абзацем статьи сказано, что Андрею Ружину, в общем-то, по фигу дача в генеральском поселке, но такое хамское отношение к себе он терпеть не намерен, и подал иск о защите чести и достоинства в суд на гражданина Незванова В. В.

Самайкин молча откладывает газету, а потом делает страшные глаза и кричит на меня, как унтер-офицерская вдова на мужа-покойника:

– Ты что наделал?! Ты знаешь, что все авторитеты в городе – его друганы? Да тебя завтра же отвезут куда-нибудь на заброшенную стройку и так поговорят, что ты сам смерти запросишь!

– Ага. Или ноги в тазик с цементом и в городской пруд... При массовом стечении публики...

– А вот увидишь, увидишь...

Надо знать Самайкина, в котором беспардонная прагматичность «по жизни» уживаются с фанатичной «русской идеей» в духе «бей жидов, спасай Россию», а сие, в свою очередь, с детскими страхами по вроде бы ничемным поводам, например, он однажды поздоровался за руку с одним человеком, а потом узнал, что тот болен ранней стадией рака – надо было видеть страдания Самайкина после сего в течение целого полугода, он уже и место себе на кладбище подобрал; но при этом очень часто Самайкин холодно-рассудителен и иногда, как мне кажется, и вправду хорошо и эксклюзивно информирован... В общем, интересный человек Игнат Васильевич...

Самайкин вдруг остывает, переключает в себе какой-то переключатель и становится логично-рассудительным.

– Шансов у тебя нет.

– Почему?

– Ты думаешь, на суде тебе на слово поверят? Ты сам должен предоставить суду доказательства, причем лучше письменные.

– Это как же?! Он ведь говорил эту гадость, а не писал?

– Ты должен привести в суд двух свидетелей, которые подтвердят то, что ты написал в исковом заявлении. Судья может еще потребовать от тебя, чтобы ты принес письменные свидетельские показания. Кто на это пойдет?

– Игнат Васильевич, да там же на собрании пол-института было!

– Хо-о-о... Андрей! Ты что за три года не понял, кто такой Незванов? Еще с комсомольской юности эдак в тени сплетены ним куча друзей, повязанных, знаешь, какими делами?! Да они заводами воровали еще до начала «перестройки»! Да и... (Самайкин вжал голову в плечи и поднял палец к потолку, сказал совсем тихо:) ... Сам с ним кое-какие дела имел... Я уж не говорю про то... Ну вот смотри: на инязе учится дочка начальницы финансового управления областной администрации – раз, у нас на истфаке – племянник главного мента области, – два, и так далее; да это еще не всё, а сколько начальничков, которые в слове «экономика» восемь ошибок делают, – кандидаты и доктора наук благодаря Незванову, знаешь, а? А ты знаешь, какие «бабки» крутятся на приемных экзаменах?

– Не знаю. Я мзду не беру, мне за державу обидно... Да и при чем тут это?

– ... А... ну, ладно... Я тебе только одну вещь скажу: когда назначили нового начальника районного УВД, он первым делом не городскому главному менту поехал представ-

ляться и не областному, а знаешь кому?

– Что, Незванову, что ли?

– Незванову!.. Никто свидетелем к тебе не подпишется. Мы с тобой пуд соли съели, но приставь мне пистолет ко лбу, я с тобой ни за что не пойду! Забери заявление, не смейши народ! За статью-то тебе теперь не расхлебаться, а ты еще и заявление! Забери!

– Я подумаю...

Я поднимаюсь по пригорку в сторону института, а с пригорка в сторону общежития спускается Чельшев. Когда-то он стоял нижним в акробатической пирамиде, представляете, мощный мужик был! Теперь он кандидат наук, правда, педагогических и доцент, но с безвольным и печальным взглядом запойного алкоголика. Впрочем, иногда этот взгляд сменяется гневным гекторовым взором.

– Андрей, ты что там учудил?!

– Вы о статье?

– О чем же еще?

– Ну... ну считайте, что шлея под хвост попала. Да и, знаете, такую хрень даже ректору прощать нельзя.

– Так! Ты на пары?

– Да нет, думал в книжный заскочить.

– Тогда я скажу тебе пару слов, если не возражаешь.

– Нет, конечно. Покурим?

– У тебя на пиво есть?

– Найдем.

– Ну пошли...

Мы идем в пивную, вернее, в продовольственный магазин в двух кварталах от общежития, один отсек-карман отведен под пивной зал, пока идем, разговариваем о шансах московского «Спартака» на этот сезон...

За столиком я пересказываю Чельшеву наш разговор с Самайкиным, Чельшев нехорошо улыбается и нерезко, но уверенно отрицательно качает головой.

– Андрей, Самайкин недорого купит и недорого продаст, это все знают. Кстати, он один из трех, кто Незванову все его статьи и книги пишут, не знал?.. Короче, Андрей, Незванов, в общем-то, обычный мужик, не был бы начальником, можно было бы сказать – нормальный мужик. Знаешь, сколько он нашего брата спас?..

Чельшев легко и коротко щелкает себя по правой стороне горла...

– И сам он выпить не дурак, это все знают. Про какую-то мафию, что тебе Самайкин наплел – это всё х....! Незванов просто коммуняка. Ему на человека налаять, что два пальца об.... А где ты интеллигентных коммуняк видел? Ты что не читаешь, что сейчас тоннами пишут? Интеллигентных начальников в России перестреляли в тридцать седьмом году... И даже раньше.

– Ну ладно, давайте ближе к делу. А что же мне было: проглотить эту гадость?

– Проглотил бы, дорогой, не умер! Зато он потом, он же человек настроения, он точно на этом собрании с бодуна был, он бы потом, в нормальном настроении как бы удовлетворился тем, что, как и всех, тебя дерьмом мазанул, и шепнул бы пару слов Мекалову.

– Ну и что?



– Ну ты что, дурак, не понимаешь? Вот тогда бы тебе дали вторую комнату в общежитии, и с диссером бы никаких проблем не было. Это же типа боевого крещения было, понимаешь? Или обряда посвящения. Одних алкашом прилюдно обзовет, других – что взятки со студентов берет, бывало, преподш и бл..... обзывал. А потом, коль смолчат и не уволятся – двигает наверх, кому куда влезет... А ты всё, б....., испортил! Ну всё об.....! Главное – всю свою собственную малину!

– Чего-то, Сергей Петрович, вы странные вещи говорите, я не представляю, что где-нибудь в Москве или даже во Владике...

– Забудь о Москвах и Владиках! Ты работаешь в Этогородском государственном пединституте! Со своим уставом в чужой...

– Знаю, знаю! Ладно! Допустим, всё так и есть, как вы говорите. Если бы я проглотил эту гадость, всё было бы нормально. Но дело-то сделано! Иск я, честно говоря, не подавал, но газета-то – областная, пятьдесят тысяч тираж – я вот шел по Центральной улице, смотрю: две женщины с химбиофака прямо в белых халатах, без пальто и шуб, к киоску бегут, – газета вышла, в общем, что ни говорите, по мордам я ему врезал. Что теперь будет? Сможете прогноз дать?

Челышев нехорошо улыбается и нерезко, но уверенно качает головой. Утвердительно. Потом допивает свое, вернее, мое пиво, утирает кулаком усобородные заросли возле рта

и отвечает.

– Сценарий известный. Не ты первый против Незванова попер. Был еще один... Еще при коммунизме... Ну ладно. Сначала жди на свои пары проверки. Малейший прокол – неполное служебное соответствие. Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Узнаешь... Если не проколешься, что маловероятно, докопаться и до столба можно: а чего он тут стоит, – если не проколешься, месяца за два Мекалов соберет от каждого, кто с тобой хоть как-то пересекался, полный мешок компромата. Окажется, что преподаватель Андрей Ружин – законченный алкаш, курит со студентами анашу, а любой студентке зачет у него можно получить только через постель. Потом тебе скажут: или заводим уголовное дело, или мой свою бедную головку говном и пошел вон. Ты понимаешь, что доигрался?

Я молчу и набыченно смотрю куда-то в угол мирового пространства.

# 11

*«Только крови не ешьте; на землю выливайте её, как воду».*

Прогноз Челышева оправдывался. Но... как-то вяло. Ну, пришла как-то раз, сразу после Нового Года и коротких каникул, старушка Синякова ко мне на семинар. Ну дак это, мне кажется, нормально: она лекции читает, я практические веду, должна же она хоть раз в семестр посмотреть, чего я на этих практических делаю: типы придаточных перечисляю или анекдоты про Вовочку рассказываю... Ну, стала Деревенькина, пряча глаза, всё чаще просить меня показывать всякие разные планы, и, совсем не пряча, лезть поближе к морде. Не то поцеловать хочет, не то просто понюхать, чистил ли сегодня преподаватель Ружин зубы перед педагогической вахтой... Ерунда... Всё как бы шло своим чередом. Я отпечатал с большой декабрьской зарплаты в пединститутской типографии автореферат, и скоро было его рассылать. Шел февраль. Мне не нужно было доставать чернил, не нужно было плакать: защита в апреле.

Числа пятнадцатого Казакам дали пустующую комнату в нашем блоке. Ту, откуда я, отхлестав ремнем свою репутацию, а заодно смертельно обидев бедную девушку, служащую по кафедре мировой культуры и умеющую посылать по матушке, – ту, откуда я выгнал Очкастую. Ту, за которую так неумело, не глотая оскорблений всемогущего Незванова, а – первый случай за всю историю Этого города – пропечатал одиозную фигуру в областной газете, – ту, за которую так неумело я боролся, думая, что, написанная за четыре месяца и моментально представленная к защите диссертация дает кое-какие права.

Казаки, не имеющие особой мебели, не следящие не то что фанатично, как моя жена, за чистотой и уютом, а вовсе к чистоте, уюту и прочим пещерным радостям равнодушные, накидали во вторую свою комнату всякого хлама, редко туда заходили...

Было обидно... Но обида была мала и мелка по сравнению с тем, что скоро – апрель, скоро – защита Ружина. Да не так уж велико было вообще всё на свете по сравнению с такими строчками из письма Натальи Витальевны: «... К.Б. из Москвы, а главное – О.Б. из Саратовского университета, первый оппонент, – уже прислали свои отзывы. Отзывы не просто положительные, обе утверждают (справедливости ради заме-

чу, не буквально), что Вам, дорогой Андрей Васильевич, удалось сделать прорыв в изучении модуса. Ваше сочинение — не просто квалификационное, а настоящее научное исследование. Как, впрочем, Вы и нацеливались его сделать...»

# Глава третья

## 1

«Опасайтесь самой сильной своей мечты», – говорят китайцы. А может, сиамцы или древние греки так говорили, может быть, вообще никто так не говорил, – не важно. Если даже ни у кого такой поговорки нет, ее стоит выдумать. Самая сильная, самая яркая мечта затмевает собой целый сонм маленьких, но как раз самых важных радостей, полк имени смысла жизни: чашку утреннего кофе с сигаретой, ради которых не самый глупый на свете человек Иосиф Бродский готов был раньше положенного получить последний инфаркт; зарплату вовремя и на сто рублей больше, чем ожидал; вопрос сынишки, от которого у тебя сразу мысль: ничего себе, а ведь повзрослел наголову; симпатичную девушку в лифте, собравшую все свои войска, чтобы выдержать осаду в минуту интимной дистанции в полметра с незнакомым усатым мужиком, а ты ей улыбнулся эдак по-отечески или пошутил как-нибудь интеллигентно (пример сейчас не могу привести, пример за мной) – она и оттаяла, она и поняла, что не всегда усатый мужик – солдафон империи зла; маленькие радости берутся порой ниоткуда, но нельзя даже предполагать, что они уходят в никуда: никогда они в никуда не уходят,

они – та невидимая, растворенная в воде соль Мертвого моря, которая позволяет держаться на плаву, не тонуть, даже тогда, когда ты просто лежишь на этой самой воде навзничь и не предпринимаешь никаких действий, не разводишь воду руками и не пинаешь ее ногами, не дышишь по-китячьи и не производишь массу прочих трудоемких глупостей. Просто лежишь на воде. Соль мелких радостей сама тебя держит... Самая сильная, самая яркая мечта не позволяет понять, в чем заключена великая миссия простой немудреной жизни с ее простыми немудреными радостями.

А потом: эта самая самая сильная мечта – великая эгоистка! Она не только съедает духовную пищу жизни простой, но и в высоком смысле слова духовную пищу: она позволяет душе лениться, отдыхать там, где ей отдыхать нельзя – любить подругу дней твоих суровых надо? Надо! Детей баловать и в угол ставить надо? Надо! С друзьями тары-бары-растобары надо? Обязательно! А в церковь сходить? И выйти оттуда другим человеком. А третий том Довлатова дочитать? А киношку хорошую, где она всё же умирает и ты, здоровый тридцатилетний мужик, сопли утираешь, посмотреть? При чем не так, что смотришь в книгу или экран, а видишь огромную, величиной с белого слона, сладкую фигуру своей незабвенной, единственно желанной, огненно недоступной и синими горами на горизонте реальной одновременно, – мечты...

Довольно подлая самая яркая, самая сильная мечта.



По мозгам бьет – хуже водки и перебитой в пыль индийской конопли, хуже апперкота в нос и пяти таблеток феназепама на ночь. Получишь такую мечту – брррр! Упрешься ногами в собственную грудь, щеки надуешь и мычишь, с утра до вечера раздражая окружающих, особенно домашних и самых близких друзей. А ведь им – домашним и самым близким друзьям – не ваша самая заветная мечта нужна, а вы целиком, с костями, потрохами, нежными сторонами души и самыми глупыми глупостями. Цельный ты им нужен, одним словом.

Ну и последнее. Когда достигнешь этой своей самой сильной, самой яркой мечты, когда она, некогда заветная, превратится в реальность, окажется... Что не та она, за кого себя выдавала. Не очень-то она вам и нужна была...

Такие дела...

Но пока, в феврале 1995 года, преподаватель кафедры русского языка Андрей Васильевич Ружин всего этого не знал.

Двадцать третье февраля: официально – День Советской армии... простите – День защитника Отечества, – неофициально – день всех наших мужиков, – в 1995 году пришелся на четверг. Праздником-выходным его сделают намного позже. Пока же в странах СНГ творилась явная гендерная, то бишь половая дискриминация: 8 Марта, женский день, – праздник-выходной; 23 февраля, мужской праздник – рабочий день. То бишь пей сколько влезет, ведь ты буквально заслужил, – но после работы, – а с утра мучайся похмельем и иди на работу.

Кажется, в этот день занятий не было только у Чельшева. Во всяком случае, вышел я утром покурить: стоит Чельшев в коридоре возле ниши с пожарным шлангом и достает оттуда заначенную чекушку. Двухсотпятидесятиграммовая (слово-то какое длинно-солидное! – а емкость – смех один...) бутылочка полна всего наполовину. Можно и так сказать: наполовину пуста. Чельшев смотрит на меня уже не гекторовым взором, а безвольно-печальным взглядом алкоголика и качает головой. В этом покачивании и всей визуальной конструкции – широкий спектр значений. Вербально это не выразить, или очень трудно выразить. В этом полупустом пузырьке, поднятом на уровне глаз, в этих глазах, так живо-тоскующе блестящих внутри зарослей включенных во-

лос на голове, непричесанных усов-бороды, – во всём этом утерянный рай... Челышев пьет сто грамм тут же, возле пожарного шланга, и грустно шлепает домой, к жене-бегунье, жене – коллеге по имеющей хорошие отечественные традиции спортивной педагогике, женщине понятливой, но строгой, как воткнет она ему сейчас пару кубов димедрола и куб анальгина для усиления седативного эффекта! Бедный Сергей Петрович!.. Проснется, когда пьяны будут уже все: странный Ружин; худой, как палка, логик Малков (отчего все логики худые?); муж биологини Марии, дочери какого-то бурятского князя, добрейший (к друзьям, а не к посторонним лохам) крепыш Боря Иванович с расплюснутым носом боксера; подкаблучник Валентин Валентинович, похожий на Гурвинка (я встречал в своей жизни с десятков людей, похожих на Гурвинка, и только один из них был настоящий чех из Праги) – сорокалетний препод-физиолог из тех, кто никогда не защитится, но немало от этого не переживает; к вечеру пьян будет физик-математик Перемолодчиков – милейший человек, в очках, из-под которых всегда блестит улыбка, тоже незащищенный, он уже хорошо знает, что такое компьютеры, и скоро уйдет из пединститута в новую романтическую профдеятельность сисадмина – системного администратора, это сейчас сисадмины в большинстве своем – пацаны недоученные, а в 1995-м эти ребята формировались из так и не защитившихся преподавов-математиков... Трезвым останется Степан: как мужик он ни рыба ни

мясо: не пьет, не курит, от женщин шарахается, как от огня, весь его пыл уходит на собирание виниловых пластинок, шахматы (каждый год играет в чемпионате города и уютно сидит в середине турнирной таблицы) и якобы науку (якобы, потому что та ахинея, которую он пытается выцарапать из-под своего мощного черепа, представляет собой помесь какой-нибудь пыльной книжки десятилетней давности и его, оттолкнувшихся от этой книжки, фантазий). Трезвым останется Казак: он из тех, у кого отец был буйным алкоголиком, поэтому Казак не только не пьет, но и ненавидит на клеточном уровне любой употребляющий элемент. Трезвым, хотя, по правде сказать, веселым, останется Самайкин: он пьет раз в год, но целый месяц, в августе, когда отгремит летняя сессия у студентов и приемные экзамены у абитуриентов, раскодируется Самайкин и пить будет жутко, не считая бутылок и денег, все руки у него будут в синяках от гемадезных капельниц, которых несчетное количество за запой поставит ему жена, похожая на цыганку, бывшая медсестра...

Всё это будет вечером, а сейчас, в полдень, я иду на кафедру, получаю дежурную открытку от кафедрянских женщин и дежурную авторучку в подарок, таких подарков на 23 февраля с недавнего времени – два: мне и Степану, – а когда-то, до смерти Стадницкого, было три... Веду семинар по словообразованию на втором курсе: терпеть не могу второй курс как класс и словообразование как никчемнейшую из дисциплин: по авторитетному заявлению профессора А. Н. Ти-

хонова синхронное словообразование занимается изучением только *живых* (подчеркнуто мной – А.Р.) деривационных связей. Ну и кому это нужно?! От этого куча интереснейших слов остаются непроеизводными. Например, «знакомый» – непроеизводное. А то, что исторически оно произошло от «знак», а дальше рефлексируй, сколько влезет, никого не волнует, а ведь как жаль! «Знакомый» – тот, кому приносят знаки глубочайшего уважения, просто знаки внимания, тот, кто несет в себе знаки отличия от массы, тот, кому ты вешаешь на грудь знак «свой» в твоей системе «свой – чужой», – вот так поиграть на семинарах по словообразованию нельзя. Наоборот, нужно следить, чтобы студенты, строя деривационные цепочки, останавливались, где следует (по канонам современной грамматики). «Допрос» – «допросить» – «допрашивать». И точка. Никаких образовательных связей со «спрашивать». Хотя и там и там я бы выделил словообразовательный корень – «-праш-/прос-» и сказал бы, что приставка *с-* – адамова. Все остальные: *до-*, *о-*, *пере-*, *про-*, *из-*... и так далее, это уже приставки имени Сифа, Еноса, Каинана, Малелеила, Иареда и прочих...

Ладно: студенты – рабы интеллектуального труда: что им преподаватель велит, то они на гору своего непонимания и потащат... и потом благополучно вниз скинут... чтобы опять наверх потащить... Пусть будет «допрос» – «допросить» – «допрашивать». И точка...

Зато вечером! Разрешенные, легитимные, двумя годами –

служил я под Иркутском в авиации, это вам не пехота-«кочколазы» и не чумазные танковые войска! – двумя годами, первый из которых – ад крошечный, а второй чем-то похож на бесшабашный рай, сегодня вечером – двумя годами заслуженные пятьсот граммов...

Простой преподаватель – не кандидат-доцент, а тем более не доктор-профессор, и даже не старший преподаватель, – что молодой ишак: нагрузки-поклажи много, тащить ее нужно почти каждый день, а упираться, как старый осел, еще не научился... После восхитительных пятисот граммов и курицы на бутылке – вернее, мы готовим ее в духовке электроплиты под романтическим названием «Мечта», которая стоит прямо в нашей шестнадцатиквадратометровой комнате, что служит нам залом, спальней, детской и кухней одновременно, – готовим мы курицу не на бутылке, а сажаем ее, бледную, бедную, на майонезную баночку, куда предварительно всыпано-влито полтора десятка разных специй, – после дивных и не очень-то и упоительных под такую закуску (а к курице еще и длиннющие спагетти, а также салат из крабовых палочек – гулять так гулять!), после таких несравненных пятисот граммов... черт побери – всё равно похмелье, и идти в пятницу в первую смену и не к родным филологам, а на отделение дефектологии, где готовят будущих логопедов... Там одни девчонки. На филфаке парней – раз, два и обчелся, но есть, а у логопедов (почему мужского рода?) они отсутствуют как вид... Примерно к восемнадцатой минуте лекции об абстинентном синдроме забывается. Объясняю разницу между двоеточием и тире, представ-

ляемых в сложном бессоюзном. «Уважаемые коллеги!..» – это я от московских профессоров перенял привычку обращаться к студентам именно так. «Уважаемые коллеги! Вот я на доске нарисовал вам таблицу с правилами простановки тире и двоеточия в сложном бессоюзном предложении, которую контаминировал... ну, собрал... из нескольких учебников по пунктуации... особенно, конечно, из книжек несравненного Дитмара Ильяшевича Розенталя. И к экзамену попрошу поднапрячься и эту таблицу выучить... Но, кроме экзамена, вам ведь еще частенько придется просто хорошо писать по-русски. Поэтому в добавление к этой таблице еще несколько слов об этой паре – двоеточие и тире. Вы знаете, у них прямо противоположная философия. Тире – это стрела, всегда летящая только вперед. У Гоголя, кажется, вообще нет двоеточий, только тире. Всё в его текстах устремлено вперед. Да вы вспомните его классические фразы: „Тройка, куда несешься ты?!“, да? Или что еще? Правильно! „Какой русский не любит быстрой езды!“ Ну, и так далее. Итак, тире – это движение вперед, стрела, летящая вперед. Кстати, тире – это такая длинная палочка, к которой приделай еще пару штришков – именно стрела и получится, да? Давайте, я прямо на доске и пририсую... А теперь вместе придумаем какой-нибудь пример... Я начну. „Он, задыхаясь, бежал на свидание, боясь опоздать...“ Ну, кто закончит? А она чего? Ну, друзья?! Хорошо, я и закончу: „... её еще не было!“ Корявенько, с точки зрения высокой прозы, вообще-то,



получилось, но ничего, как синтаксический пример пойдет. Не возражаете? Ну запишите. „Он, задыхаясь, бежал на свидание, боясь опоздать, – её еще не было“. Кроме тире, после „опоздать“, какой еще знак стоит? Правильно – запятая. Это в данном случае не единый знак, как в периоде, а разные функциональные знаки. Запятая что делает? Правильно, закрывает деепричастный оборот, он же – вставная конструкция. А тире? Тире заменяет сопоставительный союз „а“, или противопоставительный „но“, которые могли бы быть в сложносочиненном союзном предложении, вот посмотрим на таблицу, но главное, что я вам только что про философию тире говорил? Это стрела, летящая в последующее событие. Если „она еще не пришла“, это ведь впереди стоящее событие? Он не знал, он пришел и увидел, что ее еще нет. Как „не событие“ (улыбаюсь)! Вполне нормально, говорите? Не знаю, никогда больше десяти минут девушку не ждал... (Они возмущаются, я смеюсь) Да шучу, шучу! Ждал. И по полчаса, и по часу. Помню, однажды как раз и ждал час, да на таком снегопаде, каждая снежинка огромная, знаете, как дети в детском саду из белой бумаги на Новый год вырезают и на окна клеят. Вот на таком снегопаде, да. Целый час... В такого снеговика превратился, одни глаза из-под снега торчат... Ну-с, вернемся к нашим баранам. Итак, тире в бессоюзном – это стрела, летящая только вперед. А раз с двоеточием у них прямо противоположная философия, значит двоеточие это что? Это зеркало заднего ви-

да. В двоеточие видно только то, что сзади. Оно объясняет, поясняет, изъясняет то, что уже было, прошло, то, что в тексте позади, некую прежнюю ситуацию. Давайте опять сами пример придумаем. „Вставать было тяжело: вчера он слишком много...“ Да какой „выпил“, вы чего! „Читал“!.. Нет, лучше „долго“, и добавим „на ночь“, да? Ну, давайте так: „Вставать было тяжело: вчера на ночь он слишком долго читал...“ Теперь, уважаемые коллеги, сами. Каждый в своей тетрадке по паре предложений с тире, и по паре с двоеточием. Ну-с, поехали...»

А потом я иду в первый корпус, где гуманитарные факультеты и кафедры, и ловлю зубами, глазами, красным мешочком, называемым сердцем, и спрятавшейся между левым и правым легкими невидимой, но часто упоминаемой субстанцией, называемой «душой», а главное – нервами, всеми своими десятью миллиардами, или сколько их там? – нейронами, ловлю некое впереди стоящее событие. Завкафедрой Деревенькина, и впрямь похожая на заведующую сельским клубом, в такой же синей кофте, как у Ёлкиной, но Ёлкина – легенда МГУ, профессор с мировым именем, а Деревенькина – несчастная провинциальная баба со степенью кандидата наук, вымученной на материале сибирских таможенных книг XVIII века, когда-то она была весела и полна планов, а потом ее заставили быть завкафедрой, быть завкафедрой при Незванове – это сущее наказание за три рубля прибавки к скудному жалованью, – Деревенькина, пряча

глаза, как никогда, уже вроде бы дальше некуда прятать – всё равно дальше прячет, в какие-то не дальние коридоры даже, а вентиляционные прямоугольники, спрятанные под старыми обоями, – говорит: «Андрей Васильевич, мне в ректорате дали эти документы и приказали...» Она так и сказала – «приказали»... «...и приказали дать вам с ними ознакомиться. Только читайте, пожалуйста, при мне, по возможности быстро, мне нужно их через пятнадцать минут вернуть». Мы идем в аудиторию рядом с кафедрой, где обычно проходят наши кафедральные заседания, она садится не за преподавательский стол, а на последнюю парту, ей нужно что-то делать, поэтому она достает какую-то книгу, я сажусь впереди нее и открываю папку.

Первым листом лежит докладная Селезневой. Коллеги с почти взрослой дочерью и отсутствием как мужа, так и степеней и званий. Неужели я когда-то сделал ей что-то плохое? Мы так мило общались с ней все эти три года. Господи, да что это творится-то на белом свете?!

«В сентябре 1994 года деканом факультета была назначена комиссия по приему экзаменов у студентов, не сдавших экзамены в летнюю сессию. Кроме меня, в эту комиссию был назначен и Андрей Васильевич Ружин. Переэкзаменовка проходила после основных занятий, вечером. Андрей Васильевич пришел на это мероприятие с явными признаками опьянения. Для подобного мероприятия он был в чересчур легкомысленном настроении, я сидела недалеко от него

и чувствовала запах спиртного...»

Я хорошо помню этот случай. Судили двух, да, не очень успешных студенток, не сдавших летом лексикологию, которую вела как раз Селезнева. На переэкзаменовке были еще Кудряшова и Лора. Я действительно много и глупо улыбался, наивно думая, что таким образом создам для девчонок более-менее похожую на реальность атмосферу. Одна девчонка всё же пересдала. Вторая плавала вкривь и вкось. Всё-таки я проголосовал за «тройку». Селезнева и Кудряшова – за «неудовлетворительно». Лора права голоса не имела, ее задача была оформить вердикт. Девчонка была высокая, нескладная, говорила, что ей приходится учиться на дневном и одновременно работать. Кудряшова, зажав свою лысину рукой, говорила ей, что это ведь не пожизненное исключение, за этот год она может продолжать спокойно работать и одновременно готовиться к экзамену. Через год пересдаст и восстановится. А год пролетит быстро. Вот тогда я перестал улыбаться. Улыбаться уже было незачем... Но запах спиртного! Не было никакого запаха! Я был трезв, как правоверный мусульманин во время поста!

Дальше... Дальше была докладная Казака.

«...Живя в общежитии, ведет антиобщественный образ жизни... Пьет и пристаёт к соседям, чтобы его веселили, напрашивается на ничего не значащие разговоры в то время, когда преподавателям необходимо готовиться к лекциям... Хвастает собственными якобы успехами в научных исследо-

ваниях, но ни разу не помогал оргкомитету в проведении внутриинститутских научных конференций по секции филологии... Будучи пьяным, имеет обыкновение через каждые пять минут ходить в коридор курить, при этом громко хлопает дверями и мешает спать соседям...»

Всё не так, Казак, всё не так! Но главное не это. Ты, когда писал эту чушь, что, сидел с разбитой мордой в подвале Лубянки? Кстати, о разбитой морде: ты где, Казак? Ты понимал, что я когда-нибудь это прочту?

Еще в папке были бумажки от двух, уже уволившихся лаборанток кафедры – лаборантки у нас меняются, как быстро перегорающие лампочки Майлисайского электролампового завода. Месячная зарплата лаборанта кафедры эквивалентна цене полутора килограммов сливочного масла... Но откуда они выцарапали этих девчонок и как заставили написать? Там полная ерунда: «Была свидетелем, как Ружин А. В. дважды опоздал на занятия...»; «Отпустил студентов за десять минут до звонка...» Но всё же! Как заставляют писать доносы тех, у кого нет на это никаких мотивов? Или мотив писать донос есть всегда, был бы человек, умеющий писать?

Была большая бумага от Кудряшовой. Здесь – одни эмоции и рюшечки: «Заносчивый... эгоистичный... не посещает лекции ведущих преподавателей-лекторов, хотя это – путь профессионального роста для ассистента кафедры... избегает общественной работы... вял и безынициативен в делах коллектива кафедры...»

Здесь была бумага от женщины с истфака, фигуры одноцветной, про таких говорят, где они – там скандал; как-то я пришел со студентами в аудиторию, которая черным по белому была предназначена нам расписанием, – сидит с какими-то двоечниками и с места не сдвигается, – чего, говорит, вы себе аудиторию не найдете, идите-ка отсюда, – кто вы такая, говорю, – как кто, возмущается, человек, личность, – фамилия и факультет, говорю, докладную на вас проректору буду писать, – ах вы писатель! Но фамилию и факультет все же назвала... Здесь в этом, с позволения сказать, досье, она представила тот случай, конечно, под совершенно иным углом: дескать, молодой наглец Ружин пытался выгнать ее из законно занимаемой ей и приписанной истфаку аудитории...

Здесь был полный набор бумаг про случай с Очкастой, начиная с ее заявления в милицию с резолюций милицейского начальника разобраться в трудовом коллективе, заканчивая гневными междурядьями осуждающих машинописных строчек от кафедры и деканата филфака; здесь была невразумительная характеристика от Деревенькиной; какая-то ерунда от вахтера, что Ружин А. В. забывает закрыть на ключ аудитории, в которых отзанимался; конечно, писулька от директора студгородка, что видел меня бредущим в сторону общежития пьяным... Сволочи! Нупил я горькую, но совсем не в те разы, о которых вы пишете!..

Слабым утешением было лишь то, что ничего не было ни

от одного студента, не было, да и не могло быть ни от умницы Великановой, ни от милой старушки Синяковой... Почему-то ничего не было и от Степки... Спасибо, Степан Николаевич...

Я закрыл папку, встал, молча положил перед Деревенькиной. Молча вышел. Пошел по улице, вот здесь уместно сказать: куда глаза глядят... Понятно... Незванов этой папкой сказал очень простую вещь: «Увольнять тебя пока не за что... но ты всё равно увольняйся. Или ползи ко мне на коленях: защита-то у тебя в апреле. На какие шиши полетишь?»... Действительно, на какие?

Банальная фраза, но как сказать иначе? Мысли путались в голове... Я шел по Центральной улице, потом свернул в парк. Обшарпанный вход, побеленный еще при коммунистах, выщербленные плиты центральной аллеи... Вдруг я понял, что мне холодно. От макушки до кончиков пальцев на ногах. Сегодня морозно...

Я знаю, у кого занять: у Натальи Ивановны. У нее маленькая книжная лавка напротив пединститута. Муж – спившийся поэт. Когда-то был в силе: его издавали в Этом городе центнерами, в Москве – пудами. Он рулил в Этогородском бюро пропаганды советской литературы. Потом не стало ни бюро, ни советской литературы. У Натальи Ивановны два сына. Один – более-менее, второй – законченный наркоман. Книжки сейчас идут плохо: большинству народа на ужин бы наскрести, какие тут книжки? Но – всё равно. Я всегда старался этого не делать, но сейчас я иду к Наталье Ивановне. «У меня более чем неприятность, кажется, меня выгоняют из института. Диссертация летит к черту... На две бутылки!.. – Андрюша, ты только отдай, ладно! – Без проблем! Дни зарплаты с двадцать восьмого по тридцатое. Наталья Ивановна, вы меня знаете!»

Я ставлю две бледные бутылки «Столичной» в холодильник. Во второй половине девяносто второго – первой поло-



вине девяносто третьего я год подрабатывал в новой, первой в Этом городе частной школе... Год мы собирали с этой шабашки на холодильник. Почти ничего со школьных зарплат не тратили. Как это трудно, между прочим, получать деньги и складывать их в кубышку! Танталовы муки это, кажется, называется...

Я наливаю целый стакан. У меня есть заветный граненый стакан. Он стоит глубоко на полке в стандартном общежитском шкафу, что есть в каждой комнате. Когда мы въехали, в нем не было полок. Только рейки, чтобы эти полки держать. Я купил большой лист фанеры, а еще мне нужен был оргалит. Помню, мы тащили эти листы с Лешкой Китовым по бульвару, он высокий, Лешка, на полторы головы выше меня. Было неудобно. Было лето. Было жарко. Мы часто отдыхали. Из фанеры я напилел аккуратненьких полок. Оргалит положил на те места пола, где прогнил старый. Старый вначале отодрал... Работать по дому приятно. Даже если дом – общежитие пединститута... А где будем жить, если уволиться? У тещи? Имеем небольшой опыт... Когда мать с родной дочерью – хуже кровных врагов, только из-за того, что дочь с мужем и всю ночь вопящим ребенком живут с этой матерью, со стариком-отцом, когда... Ну, страшно, в общем, это всё. Не вариант это... Другого пединститута, другой кафедры русского языка в Этом городе пока нет. Школа?... Там работают люди без нервов... точнее, женщины без нервов и претензий к собственному будущему, а я муж-

чина с нервами, который за четыре месяца написал диссертацию по семантическому синтаксису. Я многого хочу. Хочу летать в Красноярск и Москву. Писать статьи и книги... При всем при том... Я странный Ружин... глупый Ружин...

Я пью стакан водки залпом. Ничем не закусываю. Водка теплой волной катится в желудок и шипит там, на каком-то песочке. Волна затихает. Остается смоченный песок и приятная пена. Перед следующей волной-порцией я выхожу покурить. Сажусь на кухне на корточки, облокотившись спиной о стену. Как сидели старатели в промерзших бараках в романе Олега Куваева «Территория». Я вдруг чувствую сильную усталость. Вместо алкогольной эйфории или хотя бы некоего успокоения, я вдруг остро чувствую, что хочу спать. Спать и всё. Куда-нибудь провалиться в небытие. А чем сон не небытие?! Я встаю и иду в свою комнату. Ложусь на диван... И действительно засыпаю... Просыпаюсь оттого, что ворчит жена. Она обнаружила в холодильнике целых две бутылки водки, одна початая и, пока я сплю, жена просто ворчит. Пятилетний сын понимает, что сейчас что-то будет, он сидит под выключенным телевизором на ковре и ждет, что сейчас будет. А что будет? Скандал будет! Сегодня мы так не договаривались. Жена, увидев, что я проснулся, взрывается. Она всегда говорит одно и то же. Но мне всегда обидно по-настоящему. Особенно обижает слово «писарь». Даже слово «алкаш» не обижает, хотя, какой из меня алкаш? Я, как верблюд, могу не пить два-три месяца. Когда

всё нормально... Сейчас не просто ненормально, сейчас ой-ё-ёй, как всё плохо, неужели не понятно?.. На меня находит красная волна ярости... Конечно, да, я знаю, вы знаете, все это знают. От наших неудач мы прежде срываемся на тех, кто ближе. На родных и близких. Это их плата за наши слабости и глупости... Хотя и наша тоже... На меня находят красная волна ярости. Я сжимаю кулаки, мои губы бледнеют, я просто придвигаюсь к ней поближе и тихо говорю: «Ты заткнешься или нет?» Говорю вроде бы тихо и просто, но она пугается не на шутку. Она увидела красную безмозглую гориллу, которая сидит у меня внутри. Она хватает сынишку и убегает к своей матери. Сегодня она не вернется...

Я сажусь за стол и пью маленькими рюмочками с изображениями древних корейских сюжетов. Еще в юности кто-то из друзей говорил мне, что пить маленькими рюмочками – сильнее захмелеть. А я почему-то не могу захмелеть. Опять белкой в колесе начинают крутиться безысходные мысли... Я боюсь себе признаться, что я – дурак, козел, идиот, что всё должно быть иначе, я должен был тихо сидеть в уголке и не высовываться, пока не защищусь, и на хамство Незванова не отвечать, и комнаты не просить. Защита, защита, защита Ружина – вот что главное... Теперь я сам себе ломаного гроша не дам, что защищусь в апреле. Теперь не просто молчать, теперь задницы лизать надо, что бы вернуть статус кво. И то вряд ли вернешь... А я даже молчать не умею... Как всё плохо! Ну и что эти рюмки? Шарахнуть опять по жизни

стаканом, что ли?.. Да нет, выйду вначале покурить. Иду курить, возвращаюсь. Надо бы закрыть дверь в блок на ключ. А потом дверь в комнату тоже на ключ. Надо захлопнуть все люки, герметично все люки задраить...

Но дверь в блок не закрывается... Ах, да, «собачка» замка давно заедает. Да и планка совсем разболталась. Я выношу из дому отвертку и молоток. В другой раз я подошел бы к делу обстоятельно. Крутил-вертел «собачку» замка, разобрал бы весь замок и долго прикидывал, как это всё починить... Сейчас у меня не то состояние... Сейчас мне не до того, чтобы послесарить, мне нужно захлопнуть все люки, герметично все люки задраить... Поковыряв почти бездумно отверткой, я беру молоток и начинаю бить по замку. Вначале осторожно-легко, потом всё сильнее и сильнее. Не замечаю, как сзади подходит Казак. У него злое лицо. Он что-то говорит, кажется, материт меня. Молоток у меня в левой руке. Я размахиваюсь левой, но бью его кулаком правой. Удар хлесткий, удачный, чуть ниже левого глаза. Голова Казака дергается, сам он летит к стене, гвоздь, торчащий из стены, пропорол ему щеку. Я бросаю молоток на пол и жду, что будет дальше. Казак бросается на меня, бросается, а не бьет, поэтому мы сцепляемся, как боксеры в клинче. Коридор узкий, мы бьемся спинами то об одну стену, то о другую... Выбегает жена Казака и истошно кричит. Мы расцепились. Казак цедит сквозь редкие, гнилые зубы (оттого у него всё время плохо пахнет изо рта, с ним невозможно стоять рядом):

«Ну ты приплыл, сейчас тебе будет!» Казаки уходят к себе. Я к себе. А что будет? Конечно, милиция и всё такое... До ближайшего от общежития отделения всего-то метров четыре-ста. Пока то да сё – сколько стаканов успею выпить?.. Искандер сказал: «Любой русский – пьющий Гамлет». Верно, блин!.. Когда выпил третий стакан – тихий, я бы сказал: интеллигентный стук в дверь. Подхожу, открываю. За дверью два сержанта в сине-серой форме. «Выйдите, пожалуйста». Это издевательство – вот это «пожалуйста»: не успел выйти – руки заломаны за спину, быстро, почти бегом тащат вниз. Мы живем на третьем этаже. На втором я замечаю, что босиком... Вот это плохо, что босиком...

Последнее, что помню: задний отсек милицейского УАЗика... Серое, жутко похмельное утро в тесном вонючем «обезьяннике» ГОМа. Курить нечего, да и нельзя. Увидят менты курящим, вытащат из клетки, отведут в закуток перед туалетом и будут бить, как они умеют, чтобы не было синяков. А если и будут синяки – для них это не страшно. Нака-таешь на них «телегу», хоть их же начальникам, хоть в прокуратуру – «отпишутся», даже если подвесят за наручники к решетке и будут поднимать за ноги до нестерпимой боли и кровавых следов на запястьях, даже если изобьют в отделении дубинкой до красного теста на лице и отбитой мошонки – ничего им не будет... В руки к ментам лучше никогда не попадать. А кто ни разу в жизни не попадал? Из нашего брата мужика? Даже не пьющих... А я не просто семьсот граммов на грудь принял. Я – меченый атом. Меня щас ка-ак свистанут по синхрофазотрону с космической скоростью...

Из моей камеры виден небольшой уголок возле дежурки. Замечаю там директора студгородка, дисквалифицированного биолога, который любит ходить в мятых черных брюках и – обязательно! – камуфляжной куртке: скажи мне, во что ты одет, и я скажу, кто ты... Обижают! Мекалова бы прислали... Нет, со мной всё ясно. Из пушки по воробьям не стреляют.

Милиционер-азербайджанец, капитан, полный, с претензией на интеллигентность, всё говорит с кем-то, мне не видно с кем, насчет машины... Через сколько-то часов в паршивой камере меня выводят, сажают в милицейский УАЗик, куда-то везут. Пятиэтажка наркологии, которой мучительно хочется умереть, какая это старая, неухоженная, давно не отремонтированная пятиэтажка. Запах в ней, на каждом из пяти этажей – почти трупный... Третий этаж. Доктор в белом халате. Ему скучно. Процедура известная: заставить дыхнуть привезенного милиционерами в аппарат, посмотреть на показания, а потом написать своим корявым почерком заключение. Он знает, что это не простые привезенные, это какие-то особые залетчики, простых пьяных, пойманных на улице, выпускают из отделения, согласно инструкции, через три часа: считается, что этого времени хватает для полного отрезвления... Этот не просто пьяный, а кому-то, видимо, сильно насоливший, тому, кому нужна официальная бумага о его опьянении, – этот особый пьяный внешне выглядит почти нормально, аппарат показывает состояние легкого опьянения. Врачу говорили, что пил задержанный вчера, врач представляет, что было вчера вечером, сколько было выпито этим парнем, если сегодня, в три часа дня, аппарат показывает состояние легкого опьянения. Но он пишет именно то, что показал аппарат...

Менты забирают бумагу, выводят меня из корпуса клиники, спорят о том, нужно ли еще везти в отделение, перегово-

вариваются по рации с каким-то начальником, говорят мне: «Свободен», – садятся в машину и уезжают. У меня ни копейки денег. Я иду домой пешком. Идти примерно восемь остановок... Первого марта в Этом городе – настоящая зима. Градусов десять-двенадцать мороза. Я в джинсах и спортивной трикотажной курточке. Босиком. Поясничный остеохондроз на всю жизнь мне, кажется, обеспечен...



Уже через день меня увольняют по статье «за аморальный поступок, совершенный педагогом». В приказе есть фраза: «Ружин А. В., находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения...» – вот она, бумага скучающего врача, а также совдеповская привычка всё более-менее серьезное делать согласно официальным заключениям... «... вечером 28.02.95 устроил в общежитии №2 дебош и избил преподавателя кафедры литературы Казака В. П., который сделал ему замечание и пытался успокоить. Факт легкого опьянения зафиксирован медицинским заключением, факт избивения преподавателем Ружиным А. В. преподавателя Казака В. П. – милицейским протоколом от 01.03.95...»

Я получаю расчет. Примерно равный полуторамесячной зарплате. На сколько хватит этих денег? На жену страшно смотреть. Она совершенно потеряна. Спасибо, что не ушла от меня, упавшего на дно. Она ходит на свою работу, приходит, готовит ужин. Может быть, действительно любит?.. Пятилетний сын и тот понимает, что случилось что-то страшное... Я понимаю только три вещи. Защита Ружина в этом году накрылась медным корытом. Пить горькую мне больше нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока я не выкарабкаюсь из этой ситуации. Ситуация более, чем сложная: кто куда возьмет меня на работу с такой статьей? Еще я понимаю, что

съезжать, отдавать комнату в общежитии нельзя, пусть подают в суд, буду рвать повестки на мелкие клочки – какое-то время протянем. Дальше видно будет...

...Я уже довольно пьян, но не настолько, чтобы не увидеть: Сергей сказал это серь-ез-но! Я давно его знаю: шутить он умеет и любит, как и все из нашего бывшего круга, иногда глупо шутит, но, когда он шутит, у него не бывает такого сосредоточенного и такого волевого лица, какое сейчас у него и какое бывает у любого интеллигента, когда он окончательно простился... с чем? Ну с Богом, наверное, с кем же еще?.. Тогда страшнее интеллигента твари нет...

Я уверен, что он долго мучился. Что он долго высчитывал моральные, психологические, логические, всякие, всякие стороны и пришел к решению. Пришел ли?.. Пришел. Он словно смахнул с себя притворную и приторную маску мальчика-всезнайки, которую носил зачем-то столько лет, вышло наружу то, что на самом деле было у этого человека на душе столько лет – усталость... Усталость от трех тысяч прочитанных книг, каждая из которых лишь умножает печаль, усталость от тысяч написанных и переписанных листов бумаги, которые ровным счетом ничего не значат перед лицом единственного вопроса – а сможешь?.. У него долго не было не то что повода задавать себе этот вопрос, но даже шанса на то, чтобы этот повод появился. И вот такой повод возник. С довольно удобной стороны, между прочим. От человека, который жил рядом почти три года, и который, конеч-

но же, тоже задавал себе этот вопрос и мучился, как пить дать, в тысячу раз сильнее, но ведь он и страдал в тысячу раз сильнее. Первый ответил: смогу. И задал вопрос второму... Он ответил: смогу... Он ответил себе на этот вопрос и сейчас его уже не купишь дешевой судьбой бородатого болтуна с двумя грошами в кармане, женившегося на московской прописке, кому суждено теперь коптить оставшиеся три-четыре десятка лет в метрпоездах, следующих подземными норами в тяжелом смраде электромагнитных полей из Бирюлева в пединститут на «Спортивной» и обратно, среди тысяч, десятков, сотен тысяч таких же, как он – складывающихся в унавоженные своим безволием и скудожеланием земляные уровни для своевольных и своелюбивых, которые всегда ходят по верху, куда хотят и как хотят... Он ответил себе – смогу, но ему нужно подтверждение, что это объективно, что это не ошибка, ему нужно, чтобы был еще один, кто сказал себе: смогу. Он знает, что верификация знания никогда не исходит из единственного источника: ему нужно, чтобы был еще один, кто сказал себе: смогу. Почему-то он определил именно меня на эту роль... А я то думал-недоумевал, сидючи в Атагуле, почему Скупой так настойчиво искал Игоря Скворцова, с которым я все два года поддерживал связь, чтобы узнать, когда я приеду, мы никогда не были особо близки с Сергеем Скупым, мы с ним, собственно говоря, вообще не были близки, как, впрочем, и с Колей, не то, что с Лехой Мазановским, с Гришей Каменевым, а не успел я приехать,

именно он, Скупой, меня встречает и почти с порога и почти в лоб задает мне этот вопрос...

– Серега, ты что?! – убить человека?! Ты понимаешь, о чем ты говоришь?! Да будь он трижды говном, пидорасом, но ведь это убить, понимаешь, убить, – я не замечаю, как перехожу в крик, не понимаю, насколько искренен, а насколько рьяно-бездарно играю очень глупую роль...

– Андрей, чего ты мне девочку тут разыгрываешь? Не хочешь, тебя никто не заставит. Хотя то, что я тебе это сказал, сам понимаешь, накладывает на тебя некоторые обязательства...

– Что... Су-у-ка! Я когда-нибудь стучал?! – я вскакиваю...

– Успокойся, блин! Напился уже? Ты совсем недавно куда как закаленней был, еще вторую не допили... Я просто хотел сказать, что такими вещами не разбрасываются. Ты представляешь, насколько я тебе доверяю, что всё это тебе рассказал?

– Представляю.

– Ну и всё. Этого достаточно...

# Глава четвертая

## 1

Мой дед Василий (как, впрочем, и Петр) воевал в Великую Отечественную. Он рассказывал, что на фронте человек забывает о болезнях, на фронте человек попросту не болеет. Нет у него такой ерунды, как обычная болезнь – всякие там простуды, расстройства желудка, повышенное или пониженное давление, воспаление легких, остеохондроз, и так далее. А если и есть, он их не замечает, – ерунда. Легкие ранения тоже ерунда... А еще самый меланхолический, безынициативный, просто ленивый человек на войне, на фронте становится очень энергичным, очень деятельным...

Непосильных трудов не бывает. Обстоятельства, кажущиеся особо сложными, многотрудными, опасными придают человеку особых сил, особой энергии.

К маю, без трудовой книжки, по бумажке, называемой «трудовым соглашением», я работал на одном из новых телеканалов – вел программу под названием «Книжный лощман»: вести ее было нетрудно, но директор канала поставил условие – каждому заву книжного магазина, о которых рассказываешь, несешь счет-фактуру за сюжет минимум на миллион (книга «Энциклопедия символов» В. Бауэра, И. Дюмоца, С. Головина в переводе Г. И. Гаева. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. – 512 с. стоила 30 000 руб.). Директора книжных магазинов – обыкновенно люди прижимистые. Договариваться было трудно. Передачи выходили нечасто – раз в две недели, – иначе материала набрать было трудно. Хотя директор телеканала разрешал, при условии, что в передаче будет платный сюжет, делать два бесплатных, с голоштаннскими поэтами, например... О гонораре за программу говорить никому не хотелось...

Кроме того, мой бывший студент, который работал на Этогородском областном радио диктором и вел странную программу-«солянку» «Иной канал», звал меня почти каждую неделю на пяти-семиминутный вечерний прямой эфир поговорить о разных проблемах русского языка – от матерщины до элитарной русской речи. Иногда слушатели задавали вопросы... О гонораре за эти эфиры говорить никому

не хотелось...

Носил заметки в газету «Океанская звезда». Главред играл в аристократа, но какие в России в XX веке могут быть аристократы?! – и был капризен. Мог похвалить материал, словно это Гиляровский писал, а потом... выбросить в корзину. Передумал. Нет, не Гиляровский писал. И вообще замно, неактуально, в стилистику «Океанской звезды» этот материал не попадает... Но, если брал, платил тройные гонорары. К нему у меня был частый доступ в кабинет (помню хрустальный графин с коньяком в стеклянном шкафу – янтарно-коричневая жидкость всегда на одном уровне). Говорили долго, но... ни о чем... В штат не приглашал. Я и не просился...

Много лучше дело обстояло в «Этогогородской правде». Я, можно сказать, подружился с первым замом главреда – он был начитан сверх меры (как ни странно это звучит, иногда так бывает), читал быстро и всё, что... как бы это сказать... модно. Богуславскую (она в девяностых была именно модной, ее печатали тогда еще редкие «глянцевые», «новорусские», как бы престижные журналы), прочитал «Красное колесо» Солженицына, а потом сетовал мне: ну прочитал, ну и что дальше? (А вот убийственная фраза, универсально-убийственная: «Ну и дальше что?» – не правда ли? – на любой посыл, имеющий более-менее позитивный момент, скажите: «Ну и что дальше?» – всё! Приехал собеседник на остановку «Конечная», дальше ему ехать некуда, толь-



ко в обратную сторону.) Трехтомник Довлатова с рисунками Андрея Макаревича, издания 1995-го прочитал: ох, долго потом меня из кабинета не отпускал! Говорил, говорил, говорил... Но я, честно сказать, так и не понял, ему в целом, как, понравилось? Или не приняла душа зама главреда «Этого городской правды» прозы писателя Сергея Довлатова?..

Он дал мне последнюю полосу каждого пятничного номера. Кроме шуток, практически всю полосу отдал, за вычетом рекламы и афиш прилично выходило, строк 400, а то и 500! Сказал, вначале принеси тем сто. Можно чуть меньше. Потом таскай материалы. Будет два, даже три достойных материала в неделю, поставлю в пятничный номер один под твоей фамилией, два под псевдонимами. Кстати, сразу дай постоянные псевдонимы – я дал, не долго думая, по именам дедов Петров и Васильев. Действительно, иногда бывало и два материала в номер, иногда даже три. Платил обычный гонорар. «Андрей, больше не могу: мы победнее „Океанской звезды“, как они, платить не можем». В штат тоже не звал. Я тоже не просился. Это не гордость. Я еще верил, что вернусь в преподаватели вуза. Это вечно. На весь человеческий век. А журналистика – как большой спорт: нагрузка высочайшая, по молодости побегаешь, материалами постреляешь, может быть, и удачно, во всяком случае, много, но быстро изнашиваешься, тогда либо спускайся во вторую лигу и доставай время от времени пыльный скелет из старого шкафа, либо уходи на тренерскую работу, а тренерская

работа здесь какая? – главный редактор, зам, ответсек, шеф-редактор, продюсер канала, директор радио или телевидения, в общем – начальник. Начальником я никогда не буду: не та психология, не та ментальность; кожа у начальника должна быть толще, чем у носорога, а о совести и душе любому начальнику лучше не вспоминать до пенсии, – у меня кожа тонкая, а душа ранимая, отчаянно против людьми командовать... А потом, кто сказал, что Ружин забыл о диссертации? Написал я Наталье Витальевне, так и так – крутой поворот в жизни, из института меня «ушли», о подробностях говорить не стоит, пока денег на защиту нет... К письму приложил заявление на имя председателя приемной комиссии, так и так, по семейным обстоятельствам прошу защиту перенести на более позднее время, желательно на год... Ответа от Натальи Витальевны я не получил...

На войне как на войне! Четырех работ внештатным журналистом мне не то, что было мало, просто мог еще что-то делать, а потом... хотелось зарабатывать больше, чем жена. Я же виноват, что ни говори, перед ней... Нарушил стабильную жизнь семьи, по глупости, гордыне... и пьянке... Потом, муж, как-то так повелось в этой стране, должен зарабатывать больше, чем жена...

Из общежития мы никуда не съезжали, некуда было съезжать. Повестки из суда действительно приходили, Незванов и компания действительно подали в суд на выселение. Я рвал эти повестки на мелкие клочки. Повестки приходили каж-

дый месяц. Я раз в месяц доставал эти серые мелкие бумажки из почтовой клетушки на букву «Р» на первом этаже общежития, рвал их на мелкие кусочки, пока шел до своего третьего, – заходил в закуток, где покрашенный в синюю краску мусоропровод, и в него, родного утилизатора, спускал... Живые люди с требованием съехать, почему-то не показывались на глаза ни в этот год, ни в следующий... Я проведал про такой случай: один преподаватель уволился, а потом жил еще в общежитии четыре года, пока бюрократия сама возненавидела свой бюрократизм, с цепи сорвалась, этого преподавателя исполнитель с милиционером чуть ли не за волосы из комнаты вытащили. Ну, четыре не четыре, но года два у нас, наверное, есть. Есть?..

...Ах, да, я говорил, что четырех работ нештатным журналистом мне было мало... Иду как-то по Центральной улице недалеко от пединститута. В подвальчике открылся продовольственный магазинчик (магазинчиков в подвалах так много открылось в те годы!) Рядом с входом объявление: «Требуется грузчик». Решение – моментальное. Ведь иногда самые лучшие решения – моментальные. Захожу – сразу к директрисе. Коротко: «Непьющий грузчик вам нужен?» – «А вы действительно непьющий?» – «Проверьте», – «Проверим», – «Только, если можно, без трудовой, до договору», – «Да какая разница, лишь бы человек был хороший!»

Говорят, что везет только тем, кто сам себя везет. Я бы добавил: много и быстро. Мне повезло с директрисой: она не заставляла меня сидеть в ее магазине от открытия (9.00) до закрытия (21.00). По вторникам, часов в 9 приходил грузовик из города Комсомольска, набитый сгущенным молоком и чем-то еще молочно-консервированным, и, стало быть, мне нужно было этот грузовик разгрузить. Ежедневно, кроме воскресенья, нужно прийти в 8.00 и натащить из комнатов, служащих складом, в торговый зал всё, что скажет работающий в этот день продавец. Забежать в течение дня, спросить у этого продавца, не надо ли еще чего. Ближе к вечеру вытащить на заднее крыльцо пустые коробки и аккуратно (я, повторяю, говорила директор: не рвать, а аккуратно разложить по швам и...) сложить стопочкой. Ровно в 11.00 приходила машина фирмы, у которой была еще пара-тройка таких магазинчиков, машина представляла собой эдакий маленький японский грузовичок-фургончик; привозили нехитрый продовольственный товар, а я, стало быть, его разгружал. Потом закидывал в этот фургончик разобранные с вечера пустые коробки. Вот и все обязанности. Справившись с ними, я мог уходить из магазина и заниматься своей журналистикой. Что я и делал...

Самое тяжелое было найти материал. Если он находился –

я писал быстро. Перебирал клавиши электрической пишущей машинки «Ивица», словно белка перекладинки своего колеса. Только голову не задираю, а, наоборот, склоняю ее, то ли для благословения, то ли для катова топора...

Когда писал, чаще всего мне самому было интересно, а если опубликованный материал читал кто-то из знакомых, то при встрече часто бросал мимоходом фразу: «Читал, любопытно», – разве этого мало для маленького счастья?..

Когда чисто репортерского материала не было: ни безбашенной молодежной тусовки, ни выступления в Центральной библиотеке многообещающей поэтессы, ни премьеры в театре, ни конкурса красоты типа «Мисс УИС» (УИС – Управление исправительной системы, то есть тюрем и зон), ни тебе даже межвузовской научно-практической конференции «Как нам обустроить Россию?», – когда не было событий, я их выдумывал. Или сочинял маленькие истории, например, про то, что заставило двенадцатилетнего пацана прогуливать уроки в школе и торговать на перекрестках газетами.

...Я проснулся на полосатом матрасе, застеленном пледом, укрытый другим пледом в углу комнаты, которая уже не казалась яхтой в водах теплого моря.

У Сергея Скупого был довольно продолжительный утренний цикл, он дорожил им, как привычкой, отвечающей за непоколебимость мироздания. В нашу дворницкую юность, которая была, казалось, еще вчера, никто так основательно не готовился вступить в новый день, как Скупой. Он просыпался, тщательно проветривал комнату, долго опорожнял кишечник, долго принимал душ, отводил не меньше пяти минут на чистку зубов, тщательно причесывался и подравнивал бороду, умащивал руки, лицо, тело кремами и лосьонами, завтракал хорошо прожаренными тостами, варил кофе из зерен, меленных ровно на одну порцию перед самым приготовлением, в джезве с арабской вязью на медном боку варил... Однажды мы с Лехой Мазановским и Колей Удовиченко с шурфовых шабашек купили старенький «Запорожец», вскоре он совсем развалился, и нам пришлось его продать совсем уж за бесценок, но мы успели разок смотаться на «шопинг» не на пригородном автобусе, а на своем авто, – в тридцати километрах от МКАД, подальше от номерных трасс, в забытом Богом сельпо, если повезет, можно было в восьмидесятые наткнуться на целую россыпь весьма

разномастных и совсем нерядомположенных, но таких дефицитных вещей – банки с норвежским рыбным филе, книга философских эссе Альбера Камю, чехословацкие кроссовки «Ботас», цейлонский чай и даже настоящее английское мужское белье... выезд назначили на воскресенье в восемь, Скупой отказался от «шопинга» и донельзя веселой поездки только потому, что не успевал полностью закончить свой утренний цикл... Сейчас он сильно его сократил: всего пять-семь минут, как встал со своей кровати, ушел в анфилады коммунальных коридоров и комнат общего пользования, но вот уже вернулся, сел за обеденный столик, который казался внебрачным сыном большого письменного, спросил: «Кофе, чай?»...

Он начал с главного:

– Андрей, то, о чем мы вчера говорили, это не пьяный базар, это абсолютно серьезно. Может, тебе нужно сказать, почему именно я... ну и ты, если...

– Да, Серега, ну почему Коля не найдет кого-нибудь, я не знаю, бандитов каких-нибудь, можно же, я не знаю, по сто первым километрам пошурудить, ему лучше знать. Да и дешевле, я думаю, будет.

– Дай я тебе объясню. Вот эта шпана, – он помотал над плечом оттопыренным большим пальцем, показывая на стену, за которой находилось кафе «Крымское», в восьмидесятих там собиралась довольно милая местная шпана, в основном фарцовщики, – для такого дела совершенно не годится.

Здесь нужны или полные профессионалы... или полные дилетанты.

Ишь ты! – как... всё сложно.

– Ничего сложного, на самом деле. Да, Коля может обратиться к криминалу. Да, есть профессионалы – бывшие менты, «афганцы», спортсмены и так далее. Но, во-первых, они стоят отнюдь не дешево, во-вторых, даже не в этом дело. Коля, хоть и закончил юрфак, но далеко не дурак. Допустим, он завяжется с этой серьезной сферой и, может быть, решит проблему. «Может быть», потому что нет никакой гарантии, что эти ребята не подойдут к Колиному... объекту и не спросят, а не желаешь ли, мил человек, заказ на себя... перекупить... Даже если такого финта и не случится, и всё будет сделано, как в аптеке, Коле очень рано будет успокаиваться... Я сейчас не о душевных терзаниях говорю... Тогда Коля будет очень серьезно повязан с очень серьезной сферой, чего нельзя делать ни при каких условиях, если хочешь протянуть в бизнесе не пару лет, а дольше. Понимаешь...

– Понял... Решешь одну проблему, а в будущем может оказаться, что попал под стопудовый пресс.

– Ну да, где-то так... А потом в криминале сейчас тоже полный бардак. Как и везде. Стукачей – полно. Говна – море. А если не на того попадет? Тем более, что у Коли принципы: во-первых, можно и нужно обманывать государство, у государства с бизнесом всегда было и будет, ну, такая обоюдная презумпция виновности, что ли... Если бы не серьезные де-



ла, написал бы об этом статью или книжку, – Сергей первый раз за это утро улыбнулся. – Во-от... И второй принцип: ни в чем не завязываться с криминалом, там ни один коготок не должен увязнуть... И, наконец, что касается этого дела, последнее. Петровку пока не разогнали. Профессионалы там остались. И всегда будут. У Коли, конечно, в «час икс» будет железобетонное алиби, но – мотив! Станут полоскать его связи, а вдруг выйдут на исполнителя? Процентов десять хотя бы на это нужно положить?.. А нас никто не знает. Мало ли было у Коли дружков в студенчестве... Ты так вообще – приехал, уехал... А на кону у нас, Андрей, ты подумай, больше, чем квартира в Москве.

А что еще, Серега, что?

Он улыбнулся... как-то нехорошо...

Уже почти два года я писал в газеты, делал что-то на телевидении и радио, работал грузчиком в магазине... И нигде не работал в штате, за твердую зарплату, которую в нашей стране чаще всего платят не за количество сделанного, а просто за то, что с 9 до 18 ты сидишь в конторе и что-то томно-медленно делаешь... или не делаешь вовсе ничего...

В культовом русском фильме «Семнадцать мгновений весны» – я помню текст этого фильма наизусть – Штирлиц, перед тем, как убрать своего агента Клауса, говорит ему: «Вот вам бумага, пишите: «Штандартенфюрер, я смертельно устал...»... Кому бы мне безо всякой диктовки написать: «Штандартенфюрер (группенфюрер, товарищ полковник, господин губернатор, etc.), я смертельно устал...» Да, я зарабатываю больше жены. Да, оказалось, что после того, как тебя выгнали с работы по статье и подали иск в суд о выселении из единственно возможного жилья, можно работать интереснее и прибыльнее прежнего и продолжать жить в пединститутском... ах, да, сейчас самозванская эпоха, все вузы теперь – университеты... в педуниверситетском общежитии. Я подвигаюсь в журналистике и уже заимел в городе кое-какое имя. Я продолжаю рвать повестки в суд, которые присылают всё реже... Но... я смертельно устал... Из Ружина высосаны все соки! Я – банка из-под «Кока-колы», в которой

осталось на донышке... «Кока-колы» уже не хочется, банку можно выбросить... Я всё чаще принимаю на ночь транквилизаторы, во-первых, чтобы потом весь день ходить и делать что-то, как автомат, как робот, без эмоций... но главное, чтобы засыпать моментально и спать поменьше, как бы высыпаясь часов за пять-шесть; из транквилизаторов я предпочитаю «Сибазон»... И потом, я никогда не думал, что «социальный статус» – это вполне реальная вещь. Какой у меня социальный статус? По сути, я ведь никакой не журналист! Я хожу по лесам информации без охотничьей лицензии, а чаще даже не по тем лесам хожу... По сути, я и не грузчик: грузчиками рождаются, у грузчиков в отделе кадров лежит трудовая книжка, они ходят в отпуск и иногда берут больничный, есть миф, а может, и не миф, что в профессию грузчика входит неписанная обязанность выпивать в месяц ведро водки: я за два года выпил бутылку шампанского на новый 1996 год и бутылку коньяку на день рождения в том же году... И почти всё вот-вот кончится. Заместитель главного редактора «Этогогородской правды» говорит, что сонный Этот город ему надоел, маленькая зарплата надоела (это у него-то маленькая! – какая же тогда большая?!), он хочет уехать в Новосибирск и, так же, как его брат, который там живет, открыть свое дело – издательский дом, к примеру. Главный редактор «Океанской звезды» всё чаще болеет – сердце. Ждать перемен власти? Ухода главреда «Океанской звезды» с инфарктной должности на какую-нибудь синекуру? Не будь имен-

но этого главного, вряд ли меня там будет кто-то так же, пусть капризно, но всё же опекать. Мой бывший студент, у которого в еженедельной программе на радио я сшибаю кое-какую копейку, по секрету сказал мне, что скоро уволится и уедет во Владивосток, тоже более активный, более живой, чем Этот город... На телевидении я сейчас делаю рекламу. Прямую и косвенную. Чаще вторую. Рекламу делать, как оказалось, приятно и легко, намного легче, чем рассказать о проблемах городской библиотеки... Но директор – это все знают, весной уйдет в пресс-службу областной администрации. Может быть, пресс-атташе Самого... А этот канальчик тогда останется?.. В этом городе два новых телеканала уже приказали и не вспоминать о своем существовании... Продавщицы в магазине шепчутся, что фирма еле-еле сводит концы с концами и скоро обанкротится, магазин закроют, надо искать другую работу... Наталья Витальевна на письма не отвечает... Я написал на кафедру, Дедкову, он ответил, что Верескова уволилась и уехала из Красноярска, что у нее в семье трагедия. Какая – не написал...

Я хочу постоянную работу! Я хочу легального жилья! Я хочу второго ребенка! Я хочу защитить, наконец, эту диссертацию... Я хочу хотя бы завести золотистого, он же сирийский, он же ангорский, – хомячка!.. Но мы живем под дамочловым мечом, которому давно надоело болтаться вниз башкой. Выгонят зимой на улицу – хомячок замерзнет и умрет... Зимой не выгонят. До 15 мая, конца отопительного сезона,

согласно их же ё..... законодательству, не выгонят. Но всё равно...

«Штандартенфюрер, я смертельно устал...»

Этот город довольно большой. Центр, как сейчас говорят, «субъекта Федерации». Здесь есть куча администраций, управлений – местных и федеральных, здесь есть филармония и симфонический оркестр, театры, не самые плохие футбольная и хоккейная команды, полтора десятка газет, три местных телеканала, художественный и краеведческий музеи, большая государственная научная библиотека, здесь пусть маленькая, полутора столетняя, но довольно яркая и даже забавная история, здесь есть «толстый» литературный журнал, международный аэропорт и высотка гостиницы «Интурист», здесь есть с десятков относительно приличных ресторанов и три десятка паршивых, здесь живет полмиллиона народу, здесь есть очень большой Центральный продовольственный рынок и громадный, как аэродром, вещевой, здесь красивая, ухоженная набережная у реки, здесь есть отделение Российского географического общества и НИИ технологии судостроения, – здесь нет одного – университета. И никогда не было. Сегодняшние самозванские «университеты» – не в счет. Огромный улей «политена», где как было «на два умножим, на три отнимем», так и осталось – это что, университет? Да назови его хоть трижды «университетом» – он как был «политеном», так до Второго Пришествия им и останется. Бывший кооперативный

техникум, где как было во времена совдепа всего полтора кандидата наук, так и осталось – и тот теперь, не спи, старушка, «университет»! Пединститут, который как был учительскими курсами, – в Этом городе, кстати, не самыми удачными, так ими и остался, – это университет?..

Университет – это особое, это высокое состояние маленькой страны, состоящей из студентов и профессоров. Это уникальный способ мышления и, если хотите, жизни...

Говорят, в свое время, при последнем «вечном» первом секретаре обкома, из Москвы – конечно, из ЦК КПСС, пришла бумага, гласящая: ребята, выбирайте, или вы организуете университет у себя, в этом вашем Этом городе, или мы укажем создать университет во Владивостоке.

Первый секретарь по фамилии Белый почесал бугорок между остатками волос на макушке и сказал: «Не-е, у нас и так есть от чего голове болеть и за что ремнем по жопе получать. Вот пусть во Владике университет и открывают. Нам этого не надь...»

С тех пор Этот город... сиротливый, я бы сказал. Большой город без настоящего университета – это в России всё равно, что мать-одиночка без единого шанса...

Незванов под свой «дембель» – через два года ему семьдесят, по какому-то там положению, человек, достигший семидесятилетнего возраста, ректорское кресло занимать не может, – вот, блин: в старой России уже сорокалетний даже деканом быть не мог, Лобачевский, который был деканом и которого не просто любили – боготворили, в свои сорок с деканов математического факультета Казанского университета ушел, хотя именно ему могли сделать исключение, – Незванов совсем разбушевался, озверел, потерял остатки тормозной жидкости. Всех в мать-перемать, не пущать, карать, нельзя, ату его, ату ее, этот факультет разогнать, «левые» частные вузы под крыло госпединститута пустить, и не ваше собачье дело, зачем, и кто и сколько с этого будет иметь. Выборы? Только попробуйте, гады, не дать по моему институту 98 процентов голосов НДР, не ставьте ни зачетов, ни экзаменов студентам, если не отчитаются, что за «Наш дом Россию» проголосовали, – сгною, со света сживу!..

Все нормальные и даже не очень нормальные люди из пединститута ушли. Ушла умница Великанова и просто хорошая преподавательница Тарасова. Ушел худой логик Малков – в академию экономики и права, и стал деканом юрфака. Ушел Миша Гинзбург с кафедры литературы. Ему пришлось переквалифицироваться из литературоведа в филосо-



фа, зато, уйдя в политехнический, он через год стал кандидатом, через три – доктором. Ушли Перемолодчиков и Валентин Валентиныч, похожий на Гурвинка. Ушел Алексей Китов. Вообще в ФСБ. Прости его, Господи, не ведает, что сотворил... Ушел даже Самайкин, одновременно испытывавший сильные центроостремительные и не менее сильные центробежные чувства к Незванову много лет, – Самайкин ушел в кооперативный «университет». Заведует там какой-то хитрой кафедрой. Кто остался? Зачем остались?..

Как это Ролан Быков говорил?.. «В 70-х на „Мосфильме“ как только количество таланта режиссера чуть-чуть превышало норму – картину закрывали...» Похоже, в Этогородском пединституте как только количество таланта преподавателя чуть-чуть превышает норму, – закрывают не курс преподавателя, а его самого... Мало что в России в течение полувека поменялось. Политический режим тут не при чем: коммунисты, либералы, консерваторы – это названия команд игры в лапту, не более...

Бедный Ружин, странный Ружин! Тебе бы по-тихому именно в это время уйти. Когда ушли почти все, чей уровень таланта равнялся норме или превышал её. Одновременно ушли. Уйти хотя бы в тот же политехнический, на ту же кафедру философии. Уйти и рубить степени и звания, как Миша Гинзбург. И ездить по портовым и столичным городам России, а также по заграницам. И шлепнуть пару томов научных статей и три тома художественной прозы к сорока-

летию...

Но нет. Так быть не могло. Я в этом уверен. Сюжеты жизни не выбирают. Они выбирают нас. В нашей воле только стиль.

Мои родители до сих пор в Атагуле. Им тяжело, плохо. Я зову их в Россию. Они не едут... Им плохо, тяжело, у них нет сил... Атагуль сейчас – в другом государстве, где принят закон о языке, по существу запрещающий говорить по-русски, где в местном «толстом» журнале из номера в номер печатаются статьи только с одним подтекстом: ага, старший брат, поучил нас жить сто лет, бил ремнем по заднице, мужиков ссать стоя заставлял, когда они тысячу лет сидя ссали, – теперь ты будешь младшим братом, даже не так – бедным родственником, сиди в своем углу и грызи свой сухарь, а мы будем строить государственность... «Россия – сука, поедающая своих детей», – так, кажется, говаривал Андрей Синявский, он же Абрам Терц... А близко к истине, между прочим. Только не Россия – а те, кто сидят на горбу этой вечно несчастной женщины. Русским в Средней Азии четыре уroda, скучающих в Кремле, и свора собак, лежащих у их ног, в девяностых годах по существу приказали унижаясь умирать. Так уже много раз в российской истории было. Те, кто дорывался до власти над огромной, большой и сильной, как медведь, но наивной, как ребенок, страны, те, кто дорывался до власти, вначале тихо сучали, затем уходили в разврат и запой, а потом похмелялись фантастически дико: заполняли овраги и яры, лощины и балки, так щедро разбросан-

ные по этим унылым ландшафтам, свежей кровью миллиона людей и катались по этим озерам на лодочках и вдыхали пары не съеденной, но вылитой наземь, как вода, крови... А в 2002 году куча придурков, как и всякие придурки, любящие громкие названия, называющие себя «государственной думой» – на самом деле это рай для бакшишных дел и ад для ума, – примут, поставим в кавычки, а как иначе? – «закон о гражданстве», тупым пиаром обозначенный как «препятствие для проникновения в Россию из стран СНГ террористов, воров и бандитов», – на самом деле это станет железным занавесом для миллионов тех русских, кто поздно, но всё же решится вернуться домой, в Россию из бывших союзных республик, а еще для сотен тысяч, уже живущим в России, но приехавшим в неё после 1 февраля 1992 года и всё еще имеющих паспорт СССР, это станет очередным унижением – они станут «лицами без гражданства», – сотни тысяч обозванных Паниковскими, никогда не кравших гусей и никогда и близко не подходивших к маленькому смешному человечку, наоборот, миллионы фигур драматических, печальных, страдающих, сотни тысяч униженных и оскорбленных, которых бросит лицом в грязь одним росчерком пера маленький смешной, чем-то действительно похожий на Паниковского человечек с утиной походкой, тихим вкрадчивым голоском, ста граммами интеллекта, тщательно завернутыми в непромокаемый в сортирах пакет, и послужным списком полковника КГБ, – сотни тысяч, миллионы унижен-

ных и оскорбленных — новый Достоевский отдыхает... Да и не будет его никогда, нового Достоевского! Даже новый Пушкин, может, когда-нибудь и будет: а чего не быть? Буря мглою небо кроет! А вот нового Достоевского никогда не будет. И Салтыкова-Щедрина никогда не будет. И Радищева...

Мой бывший и, прямо скажем, любимый студент, у которого я – какой уже год? – о чем-то болтаю в еженедельном радиоканале, сказал, что со мной о чем-то серьезно хочет поговорить начальница отдела. Программа «Иной канал» идет по отделу литературно-музыкальных программ Этогородского областного радио: название отделу досталось как трофеем советских времен, на самом деле сейчас это странная редакция развлекательных, просветительских и скучных программ. Я догадываюсь, мой младший друг догадывается, о чем она хочет со мной поговорить: взять свою большую, надеюсь, не из категории развлекательных, надеюсь, не из категории скучных, – программу.

Мы встречаемся. Женщина с русским именем, еврейским отчеством и украинской фамилией, лет десять назад она, безусловно, была красавицей, хотя никогда не была «секси»: красавица и «секси» – две большие разницы, – женщина, красивое лицо которой никогда не покидает улыбка, сидит за так не подходящим ей большим столом с темно-коричневой совершенно отполированной столешницей и предлагает мне нечто большее: да, взять свою программу, примерно такая же страничка, как в «Ином канале» моего бывшего и, прямо скажем, любимого навсегда студента, но развернутая до полчаса, а что если монолог, есть же в Москвах

Радзинские, почему бы не быть в Этом городе своему человеку, который может делать страшно трудный жанр монолога нескучно, думаю, у вас получится, назвать можно просто – «Монологи о словесности», но это еще не всё, а переходите к нам в отдел в штат, и если да, то нет ли у вас идей еще на одну программу? – Есть, говорю. Есть в этом городе сотня-другая отроков и отроковиц, которые пишут стихи и у них что-то проклевывается, но им не хватает одного: ими никто не занимается, их даже никто не слушает, – «Тонкая тетрадь», в этом названии было бы отражено... Она улыбается еще ярче, чем обычно, хотя куда уж ярче, и говорит: не надо мне объяснять этого названия, классное название! Когда сможете начать? Приходите сразу с паспортом, дипломом... Максим говорил, вы чуть ли не МГУ заканчивали? – Да, нет, не «чуть ли», я действительно МГУ окончил... – М-м! Классно! Так когда придете? – В понедельник...

Я еду в дребезжащем на все лады старом автобусе самого популярного городского маршрута в магазин распаковывать свои коробки. Еду с каким-то странным чувством. С одной стороны – вот оно, о чем мечтал. Постоянная работа с твердым жалованьем и пакетом социальной защиты, вот он – социальный статус и всё такое идеальное, оказавшееся реальным. Вот оно – уже твердое право называться журналистом. Но ведь я преподаватель по сути, господа хорошие, так ведь? И исследователь. У меня диссертация написана. Скоро уж три года, как написана. Хорошая диссертация. Это не я вам говорю. К.Б. из Москвы, а главное – О.Б. из Саратовского университета, первый оппонент, так в своих отзывах написали. И у ректоров своих университетов эти отзывы заверили...

По-хорошему, была бы сейчас директриса на месте, сказать, что увольняюсь, написать какое-нибудь заявление, прекращающее договор о работе, но директрисы на месте нет. А сегодня уже пятница. По субботам она приходит редко. В последнее время. Может, действительно скоро этому магазинчику каюк? Мне, наверное, это сейчас должно быть всё равно. Но мне почему-то не всё равно. И вообще как-то неуютно мне. Вообще-то любому, кто меняет один стиль жизни на другой, одну работу на другую, должно быть



неуютно. Но – это у большинства, наверное, должно быть синонимично... дискомфортности, что ли. А мне неуютно по-другому. Мне почему-то тоскливо. Хотя уже в понедельник, через два стремительных выходных я должен получить то, чего хотел – постоянную работу, твердое жалование, социальный статус и всё такое прочее... А мне в данную, конкретно проживаемую минуту хочется... в пединститут. Войти стремительно в аудиторию, успокоить решительным жестом поднявшихся с первых парт девчонок, сидите, мол, сидите, портфель-дипломат, черный, с металлическими плотно сжатыми губами – фетиш восьмидесятых годов, я люблю восьмидесятые годы, и часы у меня бессменные – «Seiko» на толстой подошве, самозаводящиеся, тоже фетиш восьмидесятых, – портфель-дипломат, с продольной стальной полосой на стул, пару листочков плана-конспекта на стол – и полтора часа вразмашку, захватывая теплые горсти зерен тонкой рукой, сеять разумное, доброе, вечное. Пусть вон тот нескладный длинный студент опять спит на задней парте, пусть вон те подружки, связка Гуллит – Ван Бастен, блин, опять о чем-то шушукаются и совершенно по фигу им, что вылетает из-под русских уже довольно решительных усов этого препода, пусть! Главное в процессе преподавания – сам процесс! А преподаватель-гуманитарий так вообще не должен чему-то учить, да и не может чему-то научить. Он может и должен только сказать: «Делай, как я! Но по-своему!»... Пусть даже это мало кто услышит... Да и потом, что-то кто-

то да и услышит, да и поймет. Не может быть иначе, не может...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.